

ПРИНЦ И НИЩИЙ

Милым и благонравным детям, Сузи и Кларе Племенс, с чувством сердечной любви посвящает эту книгу их отец

Предисловие

Эту повесть я расскажу вам в том виде, в каком я слышал ее от одного человека, слышавшего ее от своего отца, который слышал ее от своего отца, а тот от своего и так дальше. Триста лет, а быть может и долее, отцы передавали ее сыновьям, и таким образом она была сохранена для потомства. Возможно, что это исторический факт, но возможно — предание, легенда. Пожалуй, все это было, а пожалуй, этого и не было, но все же могло бы быть. Возможно, что в старое время в нее верили мудрецы и ученые, но возможно и то, что только простые неученые люди верили в нее и любили ее.

О, в милосердии двойная благодать:

Блажен и тот, кто милует, и тот,

Кого он милует. Всего сильнее

Оно в руках у сильных; королям

Оно пристало больше, чем корона.[1]

1. Рождение принца и рождение нищего

Это было в конце второй четверти шестнадцатого столетия.

В один осенний день в древнем городе Лондоне в бедной семье Кенти родился мальчик, который был ей совсем не нужен. В тот же день в богатой семье Тюдоров родился другой английский ребенок, который был нужен не только ей, но и всей Англии. Англия так давно мечтала о нем, ждала его и молила бога о нем, что, когда он и в самом деле появился на свет, англичане чуть с ума не сошли от радости. Люди, едва

знакомые между собою, встречаясь в тот день, обнимались, целовались и плакали. Никто не работал, все праздновали — бедные и богатые, простолюдины и знатные, — пировали, плясали, пели, угощались вином, и такая гульба продолжалась несколько дней и ночей. Днем Лондон представлял собою очень красивое зрелище: на каждом балконе, на каждой крыше развевались яркие флаги, по улицам шествовали пышные процессии. Ночью тоже было на что посмотреть: на всех перекрестках пылали большие костры, а вокруг костров веселились целые полчища гуляк. Во всей Англии только и разговоров было, что о новорожденном Эдуарде Тюдоре, принце Уэльском[2], а тот лежал завернутый в шелка и атласы, не подозревая обо всей этой кутерьме и не зная, что с ним нянчатся знатные лорды и леди, — ему это было безразлично. Но нигде не слышно было толков о другом ребенке, Томе Кенти, запеленатом в жалкие тряпки. Говорили о нем только в той нищенской, убогой семье, которой его появление на свет сулило так много хлопот.

2. Детство Тома

Перешагнем через несколько лет.

Лондон существовал уже пятнадцать веков и был большим городом по тем временам. В нем насчитывалось сто тысяч жителей, иные полагают — вдвое больше. Улицы были узкие, кривые и грязные, особенно в той части города, где жил Том Кенти, — невдалеке от Лондонского моста. Дома были деревянные; второй этаж выдавался над первым, третий выставлял свои локти далеко над вторым. Чем выше росли дома, тем шире они становились. Остовы у них были из крепких, положенных крест-накрест балок; промежутки между балками заполнялись прочным материалом и сверху покрывались штукатуркой. Балки были выкрашены красной, синей или черной краской, смотря по вкусу владельца, и это придавало домам очень живописный вид. Окна были маленькие, с мелкими ромбами стекол, и открывались наружу на петлях, как двери.

Дом, где жил отец Тома, стоял в вонючем тупике за Обжорным рядом. Тупик назывался Двор Отбросов. Дом был маленький, ветхий, шаткий, доверху набитый беднотой. Семья Кенти занимала каморку в третьем этаже. У отца с матерью существовало некоторое подобие кровати, но Том, его бабка и обе его сестры. Бэт и Нэн, не знали такого неудобства: им принадлежал весь пол, и они могли спать где им вздумается. К их услугам были обрывки двух-трех старых одеял и несколько охапок

грязной, обветшалой соломы, но это вряд ли можно было назвать постелью, потому что по утрам все это сваливалось в кучу, из которой к ночи каждый выбирал, что хотел.

Бэт и Нэн были пятнадцатилетние девчонки-близнецы, добродушные замарашки, одетые в лохмотья и глубоко невежественные. Мать мало чем отличалась от них. Но отец с бабкой были сущие дьяволы; они напивались, где только могли, и тогда воевали друг с другом или с кем попало, кто только под руку подвернется. Они ругались и сквернословили на каждом шагу, в пьяном и в трезвом виде. Джон Кенти был вор, а его мать — нищенка. Они научили детей просить милостыню, но сделать их ворами не могли.

Среди нищих и воров, наполнявших дом, жил один человек, который не принадлежал к их числу. То был добрый старик священник, выброшенный королем на улицу с ничтожной пенсией в несколько медных монет. Он часто уводил детей к себе и тайком от родителей внушал им любовь к добру. Он научил Тома читать и писать, от него Том приобрел и некоторые познания в латинском языке. Старик хотел научить грамоте и девочек, но девочки боялись подруг, которые стали бы смеяться над их неуместной ученостью.

Весь Двор Отбросов представлял собою такое же осиное гнездо, как и тот дом, где жил Кенти. Попойки, ссоры и драки были здесь в порядке вещей. Они происходили каждую ночь и длились чуть не до утра. Пробитые головы были здесь таким же заурядным явлением, как голод. И все же маленький Том не чувствовал себя несчастным. Иной раз ему приходилось очень туго, но он не придавал своим бедствиям большого значения: так жилось всем мальчишкам во Дворе Отбросов; поэтому он полагал, что иначе и быть не должно. Он знал, что вечером, когда он вернется домой с пустыми руками, отец изругает его и прибьет, да и бабка не даст ему спуска, а поздней ночью подкрадется вечно голодная мать и потихоньку сунет черствую корку или какие-нибудь объедки, которые она могла бы съесть сама, но сберегла для него, хотя уже не раз попадалась во время этих предательских действий и получала в награду тяжелые побои от мужа.

Нет, Тому жилось не так уж плохо, особенно в летнее время. Он просил милостыню не слишком усердно — лишь бы только избавиться от отцовских побоев, — потому что законы против нищенства были суровы и попрошаек наказывали очень жестоко. Немало часов проводил он со священником Эндрью, слушая его дивные старинные легенды и сказки о великанах и карликах, о волшебниках и феях, о

заколдованных замках, великолепных королях и принцах. Воображение мальчика было полно всеми этими чудесами, и не раз ночью, в темноте, лежа на скудной и колкой соломе, усталый, голодный, избитый, он давал волю мечтам и скоро забывал и обиды и боль, рисуя себе сладостные картины восхитительной жизни какого-нибудь изнеженного принца в королевском дворце. День и ночь его преследовало одно желание: увидеть своими глазами настоящего принца. Раз он высказал это желание товарищам по Двору Отбросов, но те подняли его на смех и так безжалостно издевались над ним, что он решил впредь не делиться своими мечтами ни с кем.

Ему часто случалось читать у священника старые книги. По просьбе мальчика священник объяснял ему их смысл, а порою дополнял своими рассказами. Мечтания и книги оставили след в душе Тома. Герои его фантазии были так изящны и нарядны, что он стал тяготиться своими лохмотьями, своей неопрятностью, и ему захотелось быть чистым и лучше одетым. Правда, он и теперь зачастую возился в грязи с таким же удовольствием, как прежде, но в Темзе стал он плескаться не только для забавы: теперь ему нравилось также и то, что вода смывает с него грязь.

У Тома всегда находилось на что поглазеть возле майского шеста в Чипсайде или на ярмарках. Кроме того, время от времени ему, как и всем лондонцам, удавалось полюбоваться военным парадом, когда какую-нибудь несчастную знаменитость везли в тюрьму Тауэра[3] сухим путем или в лодке. В один летний день ему пришлось видеть, как сожгли на костре в Смитфилде бедную Энн Эскью[4], а с нею еще трех человек; он слышал, как некий бывший епископ читал им длинную проповедь, которая, впрочем, очень мало заинтересовала его. Да, в общем жизнь Тома была довольно-таки разнообразна и приятна.

Понемногу чтение книг и мечты о жизни королей так сильно подействовали на него, что он, сам того не замечая, стал разыгрывать из себя принца, к восхищению и потехе своих уличных товарищей. Его речь и повадки стали церемонны и величественны. Его влияние во Дворе Отбросов с каждым днем возрастало, и постепенно сверстники привыкли относиться к нему с восторженным почтением, как к высшему существу. Им казалось, что он так много знает, что он способен к таким дивным речам и делам! И сам он был такой умный, ученый! О каждом замечании и о каждом поступке Тома дети рассказывали старшим, так что вскоре и старшие заговорили о Томе Кенти и стали смотреть на него как на чрезвычайно одаренного, необыкновенного мальчика. Взрослые в затруднительных случаях стали обращаться к

нему за советом и часто дивились остроумию и мудрости его приговоров. Он стал героем для всех, кто знал его, — только родные не видели в нем ничего замечательного.

Прошло немного времени, и Том завел себе настоящий королевский двор! Он был принцем; его ближайшие товарищи были телохранителями, камергерами, шталмейстерами, придворными лордами, статс-дамами и членами королевской фамилии. Каждый день самозваного принца встречали по церемониалу, вычитанному Томом из старинных романов; каждый день великие дела его мнимой державы обсуждались на королевском совете; каждый день его высочество мнимый принц издавал приказы воображаемым армиям, флотам и заморским владениям.

Потом он в тех же лохмотьях шел просить милостыню, выпрашивал несколько фартиггов, глодал черствую корку, получал обычную долю побоев и ругани и, растянувшись на охапке вонючей соломы, вновь предавался мечтам о своем воображаемом величии. А желание увидеть хоть раз настоящего, живого принца росло в нем с каждым днем, с каждой неделей и в конце концов заслонило все другие желания и стало его единственной страстью.

В один январский день он, как всегда, вышел в поход за милостыней. Несколько часов подряд, босой, продрогший, уныло слонялся он вокруг Минсинг Лэйна и Литтл Ист Чипа, заглядывая в окна харчевен и глотая слюнки при виде ужаснейших свиных паштетов и других смертоубийственных изобретений, выставленных в окне: для него это были райские лакомства, достойные ангелов, по крайней мере судя по запаху, — отведывать их ему никогда не случалось. Моросил мелкий холодный дождь; день был тоскливый и хмурый. Под вечер Том пришел домой такой измокший, утомленный, голодный, что даже отец с бабкой как будто пожалели его, — конечно, на свой лад: наскоро угостили его тумаками и отправили спать. Долго боль и голод, а также ругань и потасовки соседей не давали ему уснуть, но, наконец, мысли его унеслись в дальние, чудесные страны, и он уснул среди принцев, с ног до головы усыпанных золотом и драгоценными камнями. Принцы жили в огромных дворцах, где слуги благоговейно склонялись перед ними или летели выполнять их приказания. А затем, как водится, ему приснилось, что он и сам — принц.

Всю ночь он упивался своим королевским величием; всю ночь окружали его знатные леди и лорды; в сиянии яркого света он шествовал среди них, вдыхая чудесные ароматы, восхищаясь сладостной музыкой и отвечая на почтительные поклоны расступавшейся перед ним толпы — то улыбкой, то царственным кивком.

А утром, когда он проснулся и увидел окружающую его нищету, все вокруг, — как всегда после подобного сна, — показалось ему в тысячу раз непригляднее. Сердце его горестно заныло, и он залился слезами.

3. Встреча Тома с принцем

Том встал голодный и голодный поплелся из дому, но все его мысли были поглощены призрачным великолепием его ночных сновидений. Он рассеянно брел по улицам, почти не замечая, куда идет и что происходит вокруг. Иные толкали его, иные ругали, но он был погружен в свои мечты, ничего не видел, не слышал. Наконец он очутился у ворот Темпл Бара. Дальше в эту сторону он никогда не заходил. Он остановился и с минуту раздумывал, куда он попал, потом мечты снова захватили его, и он очутился за городскими стенами. В то время Стренд уже не был проселочной дорогой и даже считал себя улицей, — но вряд ли он имел право на это, потому что, хотя по одну сторону Стренда тянулся почти сплошной ряд домов, дома на другой стороне были разбросаны далеко друг от друга, — великолепные замки богатейших дворян, окруженные роскошными садами, спускавшимися к реке. В наше время на месте этих садов теснятся целые мили угрюмых строений из камня и кирпича.

Том добрался до деревни Черинг и присел отдохнуть у подножья красивого креста, воздвигнутого в давние дни одним овдовевшим королем, оплакивавшим безвременную кончину супруги; потом опять неторопливо побрел по прекрасной пустынной дороге, миновал роскошный дворец кардинала и направился к другому, еще более роскошному и величественному дворцу — Вестминстерскому. Пораженный и счастливый, глядел он на громадное здание с широко раскинувшимися крыльями, на грозные бастиионы и башни, на массивные каменные ворота с золочеными решетками, на колоссальных гранитных львов и другие эмблемы английской королевской власти. Неужели настало время, когда его заветное желание сбудется? Ведь это королевский дворец. Разве не может случиться, что небеса окажутся благосклонны к Тому и он увидит принца — настоящего принца, из плоти и крови?

По обеим сторонам золоченых ворот стояли две живые статуи — стройные и неподвижные воины, закованные с ног до головы в блестящие стальные латы. На почтительном расстоянии от дворца виднелись группы крестьян и городских жителей, чающих хоть одним глазком увидеть кого-нибудь из королевской семьи. Нарядные

экипажи с нарядными господами и такими же нарядными слугами на запятках въезжали и выезжали из многих великолепных ворот дворцовой ограды.

Бедный маленький Том в жалких лохмотьях приблизился к ограде и медленно, несмело прошел мимо часовых; сердце его сильно стучало, в душе пробудилась надежда. И вдруг он увидел сквозь золотую решетку такое зрелище, что чуть не вскрикнул от радости. За оградой стоял миловидный мальчик, смуглый и загорелый от игр и гимнастических упражнений на воздухе, разодетый в шелка и атласы, сверкающий драгоценными камнями; на боку у него висели маленькая шпага, усыпанная самоцветами, и кинжал; на ногах были высокие изящные сапожки с красными каблучками, а на голове прелестная алая шапочка с ниспадающими на плечи перьями, скрепленными крупным драгоценным камнем. Поблизости стояло несколько пышно разодетых господ — без сомнения, его слуги. О, это, конечно, принц! Настоящий, живой принц! Тут не могло быть и тени сомнения. Наконец-то была услышана молитва мальчишки-нищего!

Том стал дышать часто-часто, глаза его широко раскрылись от удивления и радости. В эту минуту все его существо было охвачено одним желанием, заслонившим собою все другие: подойти ближе к принцу и всласть наглядеться на него. Не сознавая, что делает, он прижался к решетке ворот. Но в тот же миг один из солдат грубо оттащил его прочь и швырнул в толпу деревенских зевак и столичных бездельников с такой силой, что мальчик завертелся вьюном.

— Знай свое место, бродяга! — сказал солдат.

Толпа загоготала, но маленький принц подскочил к воротам с пылающим лицом и крикнул, гневно сверкая глазами:

— Как смеешь ты обижать этого бедного отрока? Как смеешь ты так грубо обращаться даже с самым последним из подданных моего отца-короля? Отвори ворота, и пусть он войдет!

Посмотрели бы вы, как преклонилась пред ним изменчивая ветреная толпа, как обнажились все головы! Послушали бы, как радостно толпа закричала: «Да здравствует принц Уэльский!»

Солдаты отдали честь алебардами, отворили ворота и снова отдали честь, когда мимо них прошел принц Ницеты в развевающихся лохмотьях и поздоровался за руку с принцем Несметных Богатств.

— Ты кажешься голодным и усталым, — произнес Эдуард Тюдор. — Тебя обидели. Следуй за мной.

С полдюжины придворных лакеев бросились вперед — уж не знаю, зачем: вероятно, они хотели вмешаться. Но принц отстранил их истинно королевским движением руки, и они мгновенно застыли на месте, как статуи. Эдуард ввел Тома в роскошно убранную комнату во дворце, которую он называл своим кабинетом. По его приказу были принесены такие яства, каких Том в жизни своей не видывал, только читал о них в книгах. С деликатностью и любезностью, подобающей принцу, Эдуард отослал слуг, чтобы они не смущали смиренного гостя своими укоризненными взорами, а сам сел рядом и, покуда Том ел, задавал ему вопросы.

— Как тебя зовут, отрок?

— Том Кенти[5], с вашего позволения, сэра.

— Странное имя. Где ты живешь?

— В Лондоне, осмелюсь доложить вашей милости. Двор Отбросов за Обжорным рядом.

— Двор Отбросов! Еще одно странное имя!.. Есть у тебя родители?

— Родители у меня есть. Есть и бабка, которую я не слишком люблю, — да простит мне господь, если это грешно!.. И еще у меня есть две сестры-близнецы — Нэн и Бэт.

— Должно быть, твоя бабка не очень добра к тебе?

— Она ни к кому не добра, смею доложить вашей светлости. В сердце у нее нет доброты, и все свои дни она творит только зло.

— Обижает она тебя?

— Лишь тогда она не колотит меня, когда спит или затуманит свой разум вином. Но как только в голове у нее проясняется, она бьет меня вдвое сильнее.

Глаза маленького принца сверкнули гневом.

— Как? Бьет? — вскрикнул он.

— О да, смею доложить вашей милости!

— Бьет! Тебя, такого слабосильного, маленького! Слушай! Прежде чем наступит ночь, ее свяжут и бросят в Тауэр. Король, мой отец...

— Вы забываете, сэр, что она низкого звания. Тауэр — темница для знатных.

— Правда! Это не пришло мне в голову. Но я подумаю, как наказать ее. А отец твой добр к тебе?

— Не лучше моей бабки Кенти, сэр.

— Отцы, кажется, все одинаковы. И у моего нрав не кроткий. Рука у него тяжелая, но меня он не трогает. Хотя на брань он, по правде сказать, не скупится. А как обходится с тобою твоя мать?

— Она добра, сэр, и никогда не причиняет мне ни огорчений, ни боли. И Нэн и Бэт так же добры, как она.

— Сколько им лет?

— Пятнадцать, с вашего позволения, сэр.

— Леди Елизавете, моей сестре, четырнадцать. Леди Джэн Грей, моя двоюродная сестра, мне ровесница; они обе милостивы и приветливы; но моя другая сестра, леди Мэри, у которой такое мрачное, хмурое лицо... Скажи, твои сестры запрещают служанкам смеяться, дабы те не запятнали свою душу грехом?

— Мои сестры? Вы полагаете, сэр, что у них есть служанки?

Минуту маленький принц смотрел на маленького нищего с важной задумчивостью, потом произнес:

— Как же, скажи на милость, могут они обойтись без служанок? Кто помогает им снимать на ночь одежду? Кто одевает их, когда они встают поутру?

— Никто, сэр. Вы хотите, чтобы на ночь они раздевались и спали без одежды, как звери?

— Без одежды? Разве у них по одному только платью?

— Ах, ваша милость, да на что же им больше? Ведь не два же у них тела у каждой.

— Какая странная, причудливая мысль! Прости мне этот смех; я не думал обидеть тебя. У твоих добрых сестер, Нэн и Бэт, будет платьев и слуг достаточно, и очень скоро: об этом позаботится мой казначей. Нет, не благодари меня, это пустое. Ты хорошо говоришь, легко и красиво. Ты обучен наукам?

— Не знаю, как сказать, сэ. Добрый священник Эндрью из милости обучал меня по своим книгам.

— Ты знаешь латынь?

— Боюсь, что знания мои скудны, сэ.

— Выучись, милый, — это нелегко лишь на первых порах. Греческий труднее, но, кажется, ни латинский, ни греческий, ни другие языки не трудны леди Елизавете и моей кухне. Послушал бы ты, как эти юные дамы говорят на чужих языках! Но расскажи мне о твоём Дворе Отбросов. Весело тебе там живется?

— Поистине весело, с вашего разрешения, сэ, если, конечно, я сыт. Нам показывают Панча и Джуди[6], а также обезьянок. О, какие это потешные твари! У них такая пестрая одежда! Кроме того, нам дают представления: актеры играют, кричат, дерутся, а потом убивают друг друга и падают мертвыми. Так занятно смотреть, и стоит всего лишь фартинг; только иной раз очень уж трудно добыть этот фартинг, смею доложить вашей милости.

— Рассказывай еще!

— Мы, мальчишки во Дворе Отбросов, иногда сражаемся между собою на палках, как подмастерья.

У принца сверкнули глаза.

— Ого! От этого и я бы не прочь. Рассказывай еще!

— Мы бегаем взапуски, сэ, кто кого перегонит.

— Мне пришлось бы по вкусу и это! Дальше!

— Летом, сэр, мы купаемся и плаваем в каналах, в реке, брызгаем друг в друга водой, хватаем друг друга за шею и заставляем нырять, и кричим, и прыгаем, и...

— Я отдал бы все королевство моего отца, чтобы хоть однажды позабавиться так. Пожалуйста, рассказывай еще!

— Мы поем и пляшем вокруг майского шеста в Чипсайде; мы зарываем друг друга в песок; мы делаем из грязи пироги... О, эта прекрасная грязь! В целом мире ничто не доставляет нам больше приятностей. Мы прямо-таки валяемся в грязи, не в обиду будь вам сказано, сэр!

— Ни слова больше, прошу тебя! Это чудесно! Если бы я только мог облечься в одежду, которая подобна твоей, походить босиком, всласть поваляться в грязи, хоть один единственный раз, но чтобы меня никто не бранил и не сдерживал, — я, кажется, с радостью отдал бы корону.

— А я... если бы я хоть раз мог одеться так, как вы, ваша светлость... только один единственный раз...

— О, вот чего тебе хочется? Что ж, будь по-твоему! Снимай лохмотья и надевай этот роскошный наряд. У нас будет недолгое счастье, но от этого оно не станет менее радостным! Позабавимся, покуда возможно, а потом опять переоденемся, прежде чем придут и помешают.

Не прошло и пяти минут, как маленький принц Уэльский облекся в тряпье Тома, а маленький принц Нищеты — в великолепное цветное королевское платье. Оба подошли к большому зеркалу, и — о чудо! — им показалось, что они вовсе не менялись одеждой! Они уставились друг на друга, потом поглядели в зеркало, потом опять друг на друга. Наконец удивленный принц сказал:

— Что ты об этом думаешь?

— Ах, ваша милость, не требуйте, чтобы я ответил на этот вопрос. В моем звании не подобает говорить о таких вещах.

— Тогда скажу об этом я. У тебя такие же волосы, такие же глаза, такой же голос, такая же поступь, такой же рост, такая же осанка, такое же лицо, как у меня. Если бы мы вышли нагишом, никто не мог бы сказать, кто из нас ты, а кто принц Уэльский.

Теперь, когда на мне твоя одежда, мне кажется, я живее чувствую, что почувствовал ты, когда грубый солдат... Послушай, откуда у тебя этот синяк на руке?

— Пустяки, государь! Ваша светлость знаете, что тот злополучный часовой...

— Молчи! Он поступил постыдно и жестоко! — воскликнул маленький принц, топнув босой ногой. — Если король... Не двигайся с места, пока я не вернусь! Таково мое приказание!

В один миг он схватил и спрятал какой-то предмет государственной важности, лежавший на столе, и, выскочив за дверь, помчался в жалких лохмотьях по дворцовым покоям. Лицо у него разгорелось, глаза сверкали. Добежав до больших ворот, он вцепился в железные прутья и, дергая их, закричал:

— Открой! Отвори ворота!

Солдат, тот самый, что обидел Тома, немедленно исполнил это требование; как только принц, задыхаясь от монаршего гнева, выбежал из высоких ворот, солдат наградил его такой звонкой затрещиной, что он кубарем полетел на дорогу.

— Вот тебе, нищенское отродье, за то, что мне из-за тебя досталось от его высочества! — сказал солдат.

Толпа заревела, захохотала. Принц выкарабкался из грязи и гневно подскочил к часовому, крича:

— Я — принц Уэльский! Моя особа священна, и тебя повесят за то, что ты осмелился ко мне прикоснуться!

Солдат отдал ему честь алебардой и, ухмыляясь, сказал:

— Здравия желаю, ваше королевское высочество! — Потом сердито: — Поди ты вон, полоумная рвань!

Толпа с хохотом сомкнулась вокруг бедного маленького принца и погнала его по дороге с гиканьем и криками:

— Дорогу его королевскому высочеству! Дорогу принцу Уэльскому!

4. Невзгоды принца начинаются

Толпа травила и преследовала принца в течение многих часов, а потом отхлынула и оставила его в покое. Пока у принца хватало сил яростно отбиваться от черни, грозя ей своей королевской немилостью, пока он мог по-королевски отдавать ей приказания, это забавляло всех, но когда усталость, наконец, принудила принца умолкнуть, он утратил для мучителей всякую занимательность, и они отправились искать себе других развлечений. Принц стал озираться вокруг, но не узнавал местности; он знал только, что находится в Лондоне. Он пошел куда глаза глядят. Немного погодя дома стали редеть, прохожих встречалось все меньше. Он окунул окровавленные ноги в ручей, протекавший там, где теперь находится Фарингдон-стрит, отдохнул несколько минут и снова пустился в путь. Скоро добрал он до большого пустыря, где было лишь несколько беспорядочно разбросанных зданий и стояла огромная церковь. Принц узнал эту церковь. Она была окружена лесами, и всюду возились рабочие: ее перестраивали заново. Принц сразу приободрился. Он почувствовал, что его злоключениям — конец, и сказал себе: «Это древняя церковь Серых монахов, которую король, мой отец, отнял у них и превратил в убежище для брошенных и бедных детей и дал ей новое название — Христова обитель. Здешние питомцы, конечно, с радостью окажут услугу сыну того, кто был так щедр и великодушен к ним, тем более что этот сын так же покинут и беден, как те, что ныне нашли здесь приют или найдут его в будущем».

Скоро он очутился в толпе мальчуганов, которые бегали, прыгали, играли в мяч и в чехарду, — каждый забавлялся, как мог, и все страшно шумели. Они были одеты одинаково, как одевались в те дни подмастерья и слуги. У каждого на макушке была плоская черная шапочка величиною с блюдце, — она не защищала головы, потому что была очень мала, и уж совсем не украшала ее; из-под шапочки падали на лоб волосы, подстриженные в кружок, без пробора; на шее — воротник, как у лиц духовного звания; синий камзол с широкими рукавами, плотно облегавший тело и доходивший до колен; широкий красный пояс, ярко-желтые чулки, перетянутые выше колен подвязками, и туфли с большими металлическими пряжками. Это был достаточно безобразный костюм.

Мальчишки прекратили игру и столпились вокруг принца. Тот проговорил с прирожденным достоинством:

— Добрые мальчишки, скажите вашему начальнику, что с ним желает беседовать Эдуард, принц Уэльский.

Эти слова были встречены громкими криками, а один наглый подросток сказал:

— Ты, что ли, оборванец, посол его милости?

Лицо принца вспыхнуло гневом, он привычным жестом протянул было руку к бедру, но ничего не нашел. Все дружно захохотали, и один мальчишка крикнул:

— Видали? Он и впрямь был уверен, что у него, как у принца, есть шпага!

Эта насмешка вызвала новый взрыв хохота. Эдуард гордо выпрямился и сказал:

— Да, я принц. И не подобает вам, кормящимся щедротами отца моего, так обращаться со мною.

Слова его показались чрезвычайно забавными, и толпа опять захохотала. Подросток, который вступил в разговор раньше всех, крикнул своим товарищам:

— Эй вы, свиньи, рабы, нахлебники царственного отца его милости, или вы забыли приличия? Скорее на колени, вы все, да стучайте лбами покрепче! Кланяйтесь его королевской особе и его королевским лохмотьям!

И с буйным весельем они все упали на колени, воздавая своей жертве глумливые почести.

Принц пнул ближайшего мальчишку ногой и с негодованием сказал:

— Вот тебе покуда задаток, а завтра я тебя вздерну на виселицу!

Э, это уж не шутка! Какие тут шутки! Смех мгновенно умолк, и веселье уступило место ярости. Голосов десять закричало:

— Держи его! Волоки его в пруд! Где собаки? Хватай его, Лев! Хватай его, Клыкастый!

Затем последовала сцена, какой никогда еще не видела Англия: плебеи подняли руку на священную особу наследника и стали травить его псами, которые чуть не разорвали его.

К ночи принц очутился в густо населенной части города. Тело его было в синяках, руки в крови, лохмотья забрызганы грязью. Он бродил по улицам, все больше теряя мужество, — усталый и слабый, еле волоча ноги. Он уже перестал задавать

вопросы прохожим, потому что те отвечали ему одними ругательствами. Он бормотал про себя:

— Двор Отбросов! Только бы хватило у меня сил не упасть и дотащиться до него, — тогда я спасен. Родные этого мальчишки отведут меня во дворец, скажут, что я не принадлежу к их семье, что я истинный принц, — и я снова стану, чем был.

Время от времени он вспоминал, как его обидели мальчишки из Христовой обители, и говорил себе:

— Когда я сделаюсь королем, они не только получают от меня пищу и кров, но будут учиться по книгам, так как сытый желудок немного стоит, когда голодают сердце и ум. Эту историю я постараюсь хорошенько запомнить, чтобы урок, полученный мною сегодня, не пропал даром и мой народ не страдал бы от невежества. Знание смягчает сердца, воспитывает милосердие и жалость.

В окнах зажглись огни, поднялся ветер, пошел дождь, — наступила сырая, холодная ночь. Бездомный принц, бесприютный наследник английского трона шел все дальше и дальше, углубляясь в лабиринты грязных улиц, где теснились кишасщие улы нищеты.

Вдруг какой-то пьяный огромного роста грубо схватил его за шиворот и сказал:

— Опять прошлялся до такого позднего часа, а домой, небось, не принес ни одного медного фартинга! Ну смотри! Если ты без денег, я переломаю тебе все твои тощие ребра, не будь я Джон Кенти!

Принц вырвался из рук пьяницы и, беззлively потирая оскверненное его прикосновением плечо, вскричал:

— О, ты его отец? Слава благим небесам! Отведи меня в родительский дом, а его уведи оттуда.

— Его отец? Не знаю, что ты хочешь сказать, но знаю, что твой отец я... И скоро ты на собственной шкуре...

— О, не шути, не лукавь и не мешкай! Я устал, я изранен, я не в силах терпеть. Отведи меня к моему отцу, королю, и он наградит тебя такими богатствами, какие тебе не снились и в самом причудливом сне. Верь мне, верь, я не лгу, я говорю чистую правду! Протяни мне руку, спаси меня! Я воистину принц Уэльский!

С изумлением уставился Джон Кенти на мальчика и, качая головой, пробормотал:

— Спятил с ума, словно сейчас из сумасшедшего дома.

Потом он опять схватил принца за шиворот, хрипло засмеялся и выругался:

— В своем ты уме или нет, а мы с бабкой пересчитаем тебе все ребра, не будь я Джон Кенти!

И он потащил за собой упирающегося, разъяренного принца и скрылся вместе с ним в одном из ближайших дворов, провожаемый громкими и веселыми криками гнусного уличного сброда.

5. Том — патриций

Том Кенти, оставшись один в кабинете принца, отлично использовал свое уединение. То так, то этак становился он перед большим зеркалом, восхищаясь своим великолепным нарядом, потом отошел, подражая благородной осанке принца и все время наблюдая в зеркале, какой это производит эффект, потом обнажил красивую шпагу и с глубоким поклоном поцеловал ее клинок и прижал к груди, как делал это пять или шесть недель назад на его глазах один благородный рыцарь, отдавая честь коменданту Тауэра при передаче ему знатных лордов Норфолка и Сэррея для заключения в тюрьму[7]. Том играл изукрашенным драгоценными камнями кинжалом, висевшим у него на бедре, рассматривал изысканное и дорогое убранство комнаты, садился по очереди в каждое из роскошных кресел и думал о том, как важничал бы он, если бы мальчики со Двора Отбросов могли глянуть сюда хоть одним глазком и увидеть его в таком великолепии. Поверят ли они его чудесным рассказам, когда он вернется домой, или будут качать головами и приговаривать, что от чрезмерно разыгравшегося воображения он в конце концов лишился рассудка?

Так прошло с полчаса. Тут он впервые подумал, что принца что-то долго нет, и почувствовал себя одиноким. Очень скоро красивые безделушки, окружавшие его, перестали его забавлять; он жадно прислушивался к каждому звуку. Сперва ему было не по себе, потом он встревожился, потом не на шутку струхнул. Вдруг войдут какие-нибудь люди и застанут его в одежде принца, а принца нет, и никто не объяснит им, в чем дело. Ведь они, чего доброго, тут же повесят его, а потом уж начнут дознаваться,

как он сюда попал. Он слышал, что у знатных людей решения принимаются быстро, когда дело идет о таких мелочах. Тревога его росла. Весь дрожа, он тихонько отворил дверь в соседний покой. Нужно поскорее отыскать принца. Принц защитит его и выпустит отсюда. Шестеро великолепно одетых господ, составлявших прислугу принца, и два молодых пажа знатного рода, нарядные, словно бабочки, вскочили и низко поклонились ему. Он поспешно отступил и захлопнул за собою дверь.

«Они смеются надо мной! — подумал он. — Они сейчас пойдут и расскажут... О, зачем я попал сюда на свою погибель!»

Он зашагал из угла в угол в безотчетной тревоге и стал прислушиваться, вздрагивая при каждом шорохе. Вдруг дверь распахнулась, и шелковый паж доложил:

— Леди Джэн Грей.

Дверь затворилась, и к нему подбежала вприпрыжку прелестная, богато одетая юная девушка. Вдруг она остановилась и проговорила с огорчением:

— О! почему ты так печален, милорд?

Том обмер, но сделал над собой усилие и пролепетал:

— Ах, сжался надо мною! Я не милорд, я всего только бедный Том Кенти из Лондона, со Двора Отбросов. Прошу тебя, позволь мне увидеть принца, дабы он, по своему милосердию, отдал мне мои лохмотья и позволил уйти отсюда целым и невредимым. О, сжался, спаси меня!

Мальчик упал на колени, простирая к ней руки, моля не только словами, но и взглядом. Девушка, казалось, онемела от ужаса, потом воскликнула:

— О милорд, ты на коленях — передо мной! — и в страхе убежала.

Том в отчаянии упал на пол и сказал про себя:

— Ни помощи, ни надежды! Сейчас придут и схватят меня.

Между тем, пока он лежал на полу, цепenea от ужаса, страшная весть разнеслась по дворцу. Шепот переходил от слуги к слуге, от лорда к леди, — во дворцах всегда говорят шепотом, — и по всем длинным коридорам, из этажа в этаж, из зала в зал проносилось: «Принц сошел с ума! Принц сошел с ума!» Скоро в каждой гостиной, в каждом мраморном зале блестящие лорды и леди и другие столь же ослепительные,

хотя, и менее знатные особы оживленно шептались друг с другом, и на каждом лице была скорбь. Внезапно появился пышно разодетый царедворец и мерным шагом обошел всех, торжественно провозглашая:

«ИМЕНЕМ КОРОЛЯ!»

«Под страхом смерти воспрещается внимать этой лживой и нелепой вести, обсуждать ее и выносить за пределы дворца! Именем короля!»

Шушуканье сразу умолкло, как будто все шептавшиеся вдруг онемели.

Вскоре по коридорам пронеслось пчелиное жужжанье:

— Принц! Смотрите, принц идет!

Бедный Том медленно шел мимо низко кланявшихся ему придворных, стараясь отвечать им такими же поклонами и смиренно поглядывая на всю эту странную обстановку растерянными, жалкими глазами. Двое вельмож поддерживали его под руки с обеих сторон, чтобы придать твердость его походке. Позади шли придворные врачи и несколько лакеев.

Затем Том очутился в богато убранном покое дворца и услышал, как за ним захлопнули дверь. Вокруг него стали те, кто сопровождал его.

Перед ним на небольшом расстоянии полулежал очень грузный, очень толстый мужчина с широким мясистым лицом и недобрый взглядом. Огромная голова его была совершенно седая; бакенбарды, окаймлявшие лицо, тоже были седые. Платье на нем было из дорогой материи, но поношено и местами потерто. Распухшие ноги — одна из них была забинтована — покоились на подушке. В комнате царила тишина, и все, кроме Тома, почтительно склонили головы. Этот калека с суровым лицом был грозный Генрих VIII. Он заговорил, и лицо его неожиданно стало ласковым.

— Ну что, милорд Эдуард, мой принц? С чего тебе вздумалось шутить надо мною такие печальные шутки, надо мной — твоим добрым отцом-королем, который так любит и ласкает тебя?

Бедный Том выслушал, насколько ему позволяли его удрученные чувства, начало этой речи, на когда слова «твоим добрым отцом-королем» коснулись его слуха, лицо у него побелело и он, как подстреленный, упал на колени, поднял кверху руки и воскликнул:

— Ты — король? Ну, тогда мне и вправду конец!

Эти слова ошеломили короля, глаза его растерянно перебегали от одного лица к другому и, наконец, остановились на мальчике. Тонем глубокого разочарования он проговорил:

— Увы, я думал, что слухи не соответствуют истине, но боюсь, что ошибся, — он тяжело вздохнул и ласково обратился к Тому: — Подойди к отцу, дитя мое. Ты нездоров?

Тому помогли подняться на ноги, и, весь дрожа, он робко подошел к его величеству, королю Англии. Сжав его виски между ладонями, король любовно и пристально вглядывался в его испуганное лицо, как бы ища утешительных признаков возвращающегося рассудка, лотом притянул к груди кудрявую голову мальчика и нежно потрепал ее рукой.

— Неужели ты не узнаешь своего отца, дитя мое? — сказал он. — Не разбивай моего старого сердца, скажи, что ты знаешь меня! Ведь ты меня знаешь, не правда ли?

— Да. Ты мой грозный повелитель, король, да хранит тебя бог!

— Верно, верно... это хорошо... Успокойся же, не дрожи. Здесь никто не обидит тебя, здесь все тебя любят. Теперь тебе лучше, дурной сон проходит, не правда ли? И ты опять узнаешь самого себя — ведь узнаешь? Сейчас мне сообщили, что ты называл себя чужим именем. Но больше ты не будешь выдавать себя за кого-то другого, не правда ли?

— Прошу тебя, будь милостив, верь мне, мой августейший повелитель: я говорю чистую правду. Я низайший из твоих подданных, я родился нищим, и только горестный, обманчивый случай привел меня сюда, хотя я не сделал ничего дурного. Умирать мне не время, я молод. Одно твое слово может спасти меня. О, скажи это слово, государь!

— Умирать? Не говори об этом, милый принц, успокойся. Да снидет мир в твой встревоженную душу... ты не умрешь.

Том с криком радости упал на колени:

— Да наградит тебя господь за твою доброту, мой король, и да продлит он твои годы на благо страны!

Том вскочил на ноги и с веселым лицом, обратился к одному из двух сопровождавших его лордов:

— Ты слышал? Я не умру! Это сказал сам король!

Все склонили головы с угрюмой почтительностью, но никто не тронулся с места и не сказал ни слова. Том помедлил, слегка смущенный, потом повернулся к королю и боязливо спросил:

— Теперь я могу уйти?

— Уйти? Конечно, если ты желаешь. Но почему бы тебе не побыть здесь еще немного? Куда же ты хочешь идти?

Том потупил глаза и смиренно ответил:

— Возможно, что я ошибся; но я счел себя свободным и хотел вернуться в конуру, где родился и рос в нищете, где поныне обитают моя мать, мои сестры; эта конура — мой дом, тогда как вся эта пышность и роскошь, к коим я не привык... О, будь милостив, государь, разреши мне уйти!

Король задумался и некоторое время молчал. Лицо его выражало все возрастающую душевную боль и тревогу. Но в голосе его, когда он заговорил, прозвучала надежда:

— Быть может, он помешался на одной этой мысли, и его разум остается по-прежнему ясным, когда обращается на другие предметы? Пошли, господь, чтоб это было так! Мы испытаем его!

Он задал Тому вопрос по-латыни, и Том с грехом пополам ответил ему латинскою фразою. Король был в восторге и не скрывал этого. Лорды и врачи также выразили свое удовольствие.

— При его учености и дарованиях, — заметил король, — он мог бы ответить гораздо лучше, однако этот ответ показывает, что его разум только затмился, но не поврежден безнадежно. Как вы полагаете, сэръ?

Врач, к которому были обращены эти слова, низко поклонился и ответил:

— Ваша догадка верна, государь, и вполне согласна с моим убеждением.

Король был, видимо, рад одобрению столь глубокого знатока и уже веселее продолжал:

— Хорошо! Следите все. Будем испытывать его дальше.

И он предложил Тому вопрос по-французски. Том с минуту молчал, смущенный тем, что все взгляды сосредоточились на нем, потом застенчиво ответил:

— С вашего позволения, сэръ, мне этот язык неизвестен.

Король откинулся назад, на подушки. Несколько слуг бросились ему на помощь, но он отстранил их и сказал:

— Не тревожьте меня... это минутная слабость, не больше. Поднимите меня. Вот так, достаточно. Поди сюда, дитя, положи свою бедную помраченную голову на грудь отцу и успокойся! Ты скоро поправишься; это мимолетная причуда, это пройдет. Не пугайся! Скоро ты будешь здоров.

Затем он обратился к остальным, и лицо его из ласкового мгновенно стало грозным, а в глазах заблестали молнии.

— Слушайте, вы все! — сказал он. — Сын мой безумен, но это помешательство временное. Оно вызвано непосильными занятиями и слишком замкнутой жизнью. Долой все книги, долой учителей! Забавляйте его играми, развлекайте такими забавами, которые служат к укреплению сил, это восстановит его здоровье!

Король поднялся еще выше на подушках и продолжал с большим одушевлением:

— Он обезумел, но он мой сын и наследник английского престола. В здравом уме или сумасшедший, он будет царствовать! Слушайте дальше и разгласите повсюду: всякий говорящий о его недуге посягает на мир и спокойствие британской державы и будет отправлен на виселицу!.. Дайте мне пить... я весь в огне... горе истощает мои силы... Так. Возьмите прочь эту чашу... Поддержите меня. Так, хорошо. Он сумасшедший? Будь он тысячу раз сумасшедший — все же он принц Уэльский, и я, король, дам этому публичное подтверждение. Ныне же он будет утвержден в сане принца-наследника с соблюдением всех старинных церемоний. Повелеваю вам немедленно приступить к делу, милорд Гертфорд!

Один из лордов склонил колено перед королевским ложем и сказал:

— Вашему королевскому величеству известно, что наследственный гофмаршал Англии заключен в Тауэр. Не подобает заключенному...

— Замолчи! Не оскорбляй моего слуха ненавистным именем. Неужели этот человек никогда не умрет? Неужели он будет вечной преградой моим королевским желанием? И сыну моему не быть утвержденным в своих наследных правах лишь потому, что гофмаршал Англии запятнан государственной изменой и недостойн утвердить его в сане наследника? Нет, клянусь всемогущим богом! Предупреди мой парламент, чтобы еще до восхода солнца он вынес смертный приговор Норфолку, иначе парламент жестоко поплатится!

— Королевская воля — закон! — произнес лорд Гертфорд и, поднявшись с колен, вернулся на прежнее место.

Выражение гнева мало-помалу исчезло с лица короля.

— Поцелуй меня, мой принц! — сказал он. — Вот так... Чего же ты боишься? Ведь я твой отец, я люблю тебя.

— Ты добр ко мне, недостойному, о могущественнейший и милосердный государь, это поистине так. Но... но... меня удручает мысль о том, кто должен умереть, и...

— А, это похоже на тебя, это похоже на тебя! Я знал, что сердце у тебя осталось прежнее, хотя рассудок твой помрачен; у тебя всегда было доброе сердце. Но этот герцог стоит между тобою и твоими высокими почестями. Я назначу на его место другого, кто не запятнает своего сана изменой. Успокойся, мой добрый принц, не утруждай напрасно этим делом свою бедную голову...

— Но не я ли ускорю его смерть, мой повелитель? Как долго мог бы он прожить еще, если бы не я?

— Не думай о нем, мой принц! Он недостойн этого. Поцелуй меня еще раз и вернись к твоим утехам и радостям! Моя болезнь изнурила меня, я устал; мне нужен покой. Ступай с твоим дядей Гертфордом и твоей свитой и приходи ко мне снова, когда тело мое подкрепится отдыхом!

Том вышел из королевской опочивальни с тяжелым сердцем, так как последние слова короля были смертным приговором надежде, которую он втайне лелеял, — что

теперь его отпустят на свободу. И снова он услышал негромкое жужжанье голосов: «Принц, принц идет!»

Чем дальше Том шел меж двух рядов раззолоченных, низко кланявшихся ему придворных, тем больше он падал духом, сознавая, что он здесь пленник и, может быть, вовек не вырвется из этой раззолоченной клетки, — несчастный принц, не имеющий ни единого друга, если господь бог, по своему милосердию, не сжадется над ним и не вернет ему волю.

И куда бы он ни повернулся, ему чудилось, что он видит летящую в воздухе отрубленную голову и врезавшееся ему в память лицо великого герцога Норфолкского с устремленным на него укоризненным взглядом.

Его недавние мечты были так сладостны, а действительность оказалась так мрачна и ужасна!

6. Тому дают наставления

Тома привели в парадный зал и усадили в кресло. Но ему было очень неловко сидеть, так как кругом стояли пожилые и знатные люди. Он попросил было, чтобы они тоже присели, но они только кланялись ему или бормотали слова благодарности и продолжали стоять. Том повторил свою просьбу, но его «дядя», граф Гертфорд, шепнул ему на ухо:

— Прошу тебя, не настаивай, милорд: не подобает им сидеть в твоём присутствии.

Доложили, что пришел лорд Сент-Джон. Почтительно склонившись перед Томом, лорд сказал:

— Я прислан королем по секретному делу. Не угодно ли будет вашему королевскому высочеству отпустить всех находящихся здесь, за исключением милорда графа Гертфорда?

Заметив, что Том как будто не знает, как отпустить придворных, Гертфорд шепнул ему, чтобы он сделал знак рукою, не утруждая себя речью, если у него нет желания говорить.

Когда свита удалилась, лорд Сент-Джон продолжал:

— Его величество повелевает, чтобы, в силу важных и веских государственных соображений, его высочество принц скрывал свой недуг, насколько это в его силах, пока болезнь не пройдет и принц снова не станет таким, каким был прежде. А именно: он не должен ни перед кем отрицать, что он истинный принц, наследник великой английской державы, он обязан всегда соблюдать свое достоинство государя-наследника и принимать без всяких возражений знаки повиновения и почтения, подобающие ему по праву и древнему обычаю; король требует, чтобы он перестал рассказывать кому бы то ни было о своем якобы низком происхождении и низкой доле, ибо эти рассказы суть не что иное, как болезненные измышления его переутомленной фантазии; чтобы он прилежно старался воскресить в своей памяти знакомые ему лица, и в тех случаях, когда это не удастся ему, пусть он хранит спокойствие, не выказывая удивления или иных признаков забывчивости; во время же парадных приемов, если он будет в затруднении, не зная, что говорить или делать, пусть скрывает от любопытных свою растерянность, но советуется с лордом Гертфордом или со мною, своим покорным слугой, ибо граф и я специально для этого приставлены к нему королем и будем всегда под рукою, вплоть до отмены сего приказа. Так повелевает его величество король, который шлет привет вашему королевскому высочеству, моля бога, чтобы он по своему милосердию послал вам скорое исцеление и осенил вас своей благодатью.

Лорд Сент-Джон поклонился и отошел в сторону. Том покорно ответил:

— Так повелел король. Никто не смеет ослушаться королевских велений или ловко перекраивать их для собственных надобностей, если они кажутся слишком стеснительными. Желание короля будет исполнено.

Лорд Гертфорд сказал:

— Так как его величество соизволил повелеть не утруждать вас чтением книг и другими серьезными делами подобного рода, то не благоугодно ли будет вашему высочеству провести время в беспечных забавах, дабы не утомиться к банкету и не повредить своему здоровью.

На лице Тома выразилось удивление; он вопросительно посмотрел на лорда Сент-Джона и покраснел, встретив устремленный на него скорбный взгляд.

— Память все еще изменяет вам, — сказал лорд, — и потому мои слова кажутся вам удивительными; но не тревожьтесь, это пройдет, как только вы начнете поправляться. Милорд Гертфорд говорит о банкете от города; месяца два тому назад король обещал, что вы, ваше высочество, будете на нем присутствовать. Теперь вы припоминаете?

— Я с грустью должен сознаться, что память действительно изменила мне, — ответил Том неуверенным голосом и опять покраснел.

В эту минуту доложили о леди Елизавете и леди Джэн Грей. Лорды обменялись многозначительными взглядами, и Гертфорд быстро направился к двери. Когда молодые принцессы проходили мимо него, он шепнул им:

— Прошу вас, леди, не подавайте виду, что вы замечаете его причуды, и не выказывайте удивления, когда его память будет изменять ему... вы с горечью увидите, как часто это с ним случается.

Тем временем лорд Сент-Джон говорил на ухо Тому:

— Прошу вас, сэр, соблюдайте свято волю его величества: припоминайте все, что можете, делайте вид, что припоминаете все остальное. Не дайте им заметить, что вы изменились. Ведь вы знаете, как нежно любят вас игравшие с вами в детстве принцессы и как это огорчит их. Угодно вам, сэр, чтобы я остался здесь?.. Я и ваш дядя?

Том жестом выразил согласие и невнятно пробормотал какое-то слово. Ему уже пошла впрок наука, и в простоте души он решил возможно добросовестнее исполнять королевский приказ.

Несмотря на все предосторожности, беседа между Томом и принцессами становилась иногда несколько затруднительной. По правде говоря, Том не раз готов был погубить все дело и объявить себя непригодным для такой мучительной роли, но всякий раз его спасал такт принцессы Елизаветы. Оба лорда были настороже и тоже удачно выручали его двумя-тремя словами, сказанными как бы ненароком. Один раз маленькая леди Джэн привела Тома в отчаяние, обратившись к нему с таким вопросом:

— Были ли вы сегодня с приветствием у ее величества королевы, милорд?

Том растерялся, медлил ответом и уже готов был брякнуть наобум что попало, но его выручил лорд Сент-Джон, ответив за него с непринужденностью царедворца, привыкшего находить выход из всякого щекотливого положения:

— Как же, миледи! Государыня доставила ему сердечную радость, сообщив, что его величеству лучше. Не правда ли, ваше высочество?

Том пролепетал что-то, что можно было принять за подтверждение, но почувствовал, что ступает на скользкую почву. Несколько позже в разговоре было упомянуто о том, что принцу придется на время оставить учение.

Маленькая принцесса воскликнула:

— Ах, какая жалость! Какая жалость! Ты делал такие успехи. Но ничего, не тужи, это ненадолго. У тебя еще будет время озарить свой разум такой же ученостью, какую обладает твой отец, и овладеть таким же количеством иноземных языков, какое подвластно ему.

— Мой отец? — на мгновенье забывшись, воскликнул Том. — Да он и на своем-то родном говорит так, что понять его могут разве только свиньи в хлеву! А что касается какой ни на есть учености... — Он поднял глаза и, встретив хмурый, предостерегающий взгляд милорда Сент-Джона, запнулся, покраснел, потом продолжал тихо и грустно: — Ах, мой недуг снова одолевает меня, и мысли мои сбиваются с верной дороги. Я не хотел нанести оскорбления его величеству.

— Мы знаем это, государь, — почтительно сказала принцесса Елизавета, ласково взяв руку «брата» и держа ее между своими ладонями. — Не тревожься этим! Виноват не ты, а твой недуг.

— Ты нежная утешительница, милая леди, — с признательностью вымолвил Том, — и, с твоего позволения, я от всей души благодарю тебя.

Один раз вертушка леди Джэн выстрелила в Тома какой-то несложной греческой фразой. Зоркая принцесса Елизавета сразу заметила по невинному недоумению на лице принца, что выстрел не попал в цель, и спокойно ответила вместо Тома целым залпом звонких греческих фраз, затем тотчас же заговорила о другом.

Время протекало приятно, и в общем беседа шла гладко. Подводные рифы и мели встречались реже и реже, и Том уже чувствовал себя более непринужденно, видя,

как все стараются помочь ему и не замечать его промахов. Когда выяснилось, что принцессы должны сопровождать его вечером на банкет у лорда-мэра, сердце Тома всколыхнулось от радости, и он вздохнул с облегчением, почувствовав, что не будет одинок в толпе чужих, хотя час тому назад мысль, что принцессы поедут вместе с ним, привела бы его в неопиcуемый ужас.

Оба лорда, ангелы-хранители Тома, получили от этой беседы меньше удовольствия, чем остальные ее участники. Они чувствовали себя так, будто вели большой корабль через опасный пролив; все время они были настороже, и их обязанности отнюдь не казались им детской игрой. Так что, когда визит юных леди подошел к концу и доложили о лорде Гилфорде Дадли, они почувствовали, что сейчас не следует слишком перегружать их питомца и что, кроме того, не так-то легко пуститься в новое хлопотливое плавание и привести свой корабль обратно, — поэтому они почтительно посоветовали Тому отклонить посещение. Том и сам был этому рад, зато лицо леди Джэн слегка омрачилось, когда она узнала, что блестящий юноша не будет принят.

Наступило молчание. Все как будто ждали чего-то, Том не понимал, чего именно. Он посмотрел на лорда Гертфорда, тот сделал ему знак, но он не понял и этого знака. Леди Елизавета со своей обычной находчивостью поспешила вывести его из затруднения. Она сделала ему реверанс и спросила:

— Ваше высочество, брат мой, разрешите нам удалиться?

— Поистине, миледи, вы можете просить у меня чего угодно, — сказал Том, — но я охотнее исполнил бы всякую другую вашу просьбу, — поскольку это в моих скромных силах, — чем лишить себя благодати и света вашего присутствия, но прощайте и да хранит вас господь!

Он усмехнулся про себя и подумал: «Недаром в моих книгах я жил только в обществе принцев и научился подражать их цветистым учтивым речам!»

Когда знатные девы ушли, Том устало повернулся к своим тюремщикам и сказал:

— Не будете ли вы так любезны, милорды, не позволите ли мне отдохнуть где-нибудь здесь в уголке?

— Дело вашего высочества — приказывать, а наше — повиноваться, — ответил лорд Гертфорд. — Отдых вам воистину потребен, ибо вскоре вам предстоит совершить путешествие в Лондон.

Лорд прикоснулся к колокольчику; вбежал паж и получил повеление пригласить сюда сэра Вильяма Герберта. Сэр Вильям не замедлил явиться и повел Тома во внутренние покои дворца. Первым движением Тома было протянуть руку к чаше воды, но бархатно-шелковый паж тотчас же схватил чашу, опустился на одно колено и поднес ее принцу на золотом блюде.

Затем утомленный пленник сел и хотел было снять с себя башмаки, робко прося взглядом позволения; но другой бархатно-шелковый назойливый паж поспешил опуститься на колени, чтобы избавить его и от этой работы. Том сделал еще две или три попытки обойтись без посторонней помощи, но ни одна не имела успеха. Он, наконец, сдался и с покорным вздохом пробормотал:

— Горе мне, горе! Как еще эти люди не возьмутся дышать за меня!

В туфлях, в роскошном халате, он, наконец, прикорнул на диване, но заснуть не мог: голова его была слишком переполнена мыслями, а комната — людьми. Он не мог отогнать мыслей, и они остались при нем; он не умел выслать вон своих слуг, и потому они тоже остались при нем, к великому огорчению Тома и их самих.

Когда Том удалился, его знатные опекуны остались вдвоем. Некоторое время оба молчали, в раздумье качая головами и шагая по комнате. Наконец лорд Сент-Джон заговорил:

— Скажи по совести, что ты об этом думаешь?

— По совести, вот что: королю осталось недолго жить, мой племянник лишился рассудка, — сумасшедший взойдет на трон, и сумасшедший останется на троне. Да спасет господь нашу Англию! Ей скоро понадобится помощь господня!

— Действительно, все это похоже на истину. Но... нет ли у тебя подозрения... что... что...

Говорящий запнулся и не решился продолжать: вопрос был слишком щекотлив. Лорд Гертфорд стал перед Сент-Джоном, посмотрел ему в лицо ясным, открытым взглядом и сказал:

— Говори! Кроме меня, никто твоих слов не услышит. Подозрение в чем?

— Мне очень не хотелось бы выражать словами, милорд, то, что у меня на уме, ты так близок ему по крови. Прости, если я оскорблю тебя, но не кажется ли тебе удивительным, что безумие так изменило его? Я не говорю, чтобы его речь или осанка утратили свое царственное величие, но все же они в некоторых ничтожных подробностях отличаются от его прежней манеры держать себя. Не странно ли, что безумие изгладило из его памяти даже черты его отца; что он забыл даже обычные знаки почтения, какие подобают ему от всех окружающих; не странно ли, что, сохранив в памяти латинский язык, он забыл греческий и французский? Не обижайся, милорд, но сними у меня тяжесть с души и прими искреннюю мою благодарность! Меня преследуют его слова, что он не принц, и я...

— Замолчи, милорд! То, что ты говоришь, — измена! Или забыл ты приказ короля? Помни, что, слушая тебя, я и то делаюсь соучастником твоего преступления.

Сент-Джон побледнел и поспешил сказать:

— Я ошибся, я признаю это сам. Будь так великодушен и милостив, не выдавай меня! Я никогда больше не буду ни размышлять, ни говорить об этом. Не поступай со мною слишком сурово, иначе я погибший человек.

— Я удовлетворен, милорд. Если ты не станешь повторять свой оскорбительный вымысел ни мне, ни кому другому, твои слова будут считаться как бы несказанными. Оставь свои пустые подозрения. Он сын моей сестры: разве его голос, его лицо, его внешность не знакомы мне от самой его колыбели? Безумие могло вызвать в нем не только те противоречивые странности, которые подмечены тобою, но и другие, еще более разительные. Разве ты не помнишь, как старый барон Марли, сойдя с ума, забыл свое собственное лицо, которое знал шестьдесят лет, и считал, что оно чужое, — нет, больше того, утверждал, будто он сын Марии Магдалины, будто голова у него из испанского стекла, и — смешно сказать! — не позволял никому прикасаться к ней, чтобы чья-нибудь неловкая рука не разбила ее. Гони прочь свои сомнения, добрый милорд. Это истинный принц, я хорошо его знаю, и скоро он станет твоим королем. Тебе полезно подумать об этом: это важнее всех других обстоятельств.

В течение дальнейшей беседы лорд Сент-Джон многократно отрекался от своих ошибочных слов и утверждал, что теперь-то он доподлинно знает, где правда, и больше никогда, никогда не станет предаваться сомнениям. Лорд Гертфорд простился со своим

собратом тюремщиком и остался один стеречь и опекать принца. Скоро он углубился в размышления, и, очевидно, чем дольше думал, тем сильнее терзало его беспокойство. Наконец он вскочил и начал шагать по комнате.

— Вздор! Он должен быть принцем! — бормотал он про себя. — Во всей стране не найдется человека, который решился бы утверждать, что два мальчика, рожденные в разных семьях, чужие друг другу по крови, могут быть похожи один на другого, словно два близнеца. Да если бы даже и так! Было бы еще более диковинным чудом, если бы какой-нибудь немыслимый случай дал им возможность поменяться местами. Нет, это безумно, безумно, безумно!

Спустя некоторое время лорд Гертфорд сказал себе:

— Если бы он был самозванец и называл себя принцем — это было бы естественно; в этом, несомненно, был бы смысл. Но существовал ли когда-нибудь такой самозванец, который, видя, что и король и двор — все величают его принцем, отрицал бы свой сан и отказывался от почестей, которые воздаются ему? Нет! Клянусь душою святого Свитина, нет! Он истинный принц, потерявший рассудок!

7. Первый королевский обед Тома

Около часа дня Том покорно перенес пытку переодевания к обеду. Его опять нарядили в такой же роскошный костюм, как и раньше, но сменили на нем решительно все — от воротничков до чулок. Затем с большими церемониями Тома проводили в просторный, богато убранный зал, где был накрыт стол на одного человека. Вся утварь была из литого золота и так великолепно изукрашена, что буквально не имела цены: то была работа Бенвенуто[8]. В комнате толпились высокородные прислужники. Капеллан прочел молитву, и проголодавшийся Том готов был уже наброситься на еду, но его задержал милорд граф Беркли, обвязавший его шею салфеткой, — важная обязанность подвязывания салфетки принцам Уэльским была наследственной в семье этого лорда. Был здесь и виночерпий, предупреждавший всякую попытку Тома налить себе своими руками вина. Тут же находился другой лорд — отведыватель: он состоял при его высочестве принце Уэльском исключительно для того, чтобы пробовать по первому требованию все подозрительные блюда, и, таким образом, рисковал быть отравленным. В то время отведыватель был уже ненужным украшением в королевской столовой, так как ему не часто приходилось исполнять свои обязанности; но были

времена за несколько поколений до Генриха VIII, когда должность отведывателя была чрезвычайно опасной, и мало кто добивался этого почетного звания. Кажется странным, что эту обязанность не возложили на какого-нибудь пса или алхимика, — но кто постигнет дворцовые обычаи! Был тут и милорд д'Арси, первый камергер, — зачем и для какой надобности, неизвестно, но он был тут, и этого было достаточно! Был тут и лорд-дворецкий. Он стоял у Тома за спиной и следил, чтобы весь церемониал был соблюдаем до мельчайших подробностей. Церемониалом распоряжались лорд главный лакей и лорд главный повар, которые стояли поблизости. Кроме них, у Тома было еще триста восемьдесят четыре человека прислуги, но, разумеется, не все они находились в столовой, — и четверть всего их количества не прислуживало за этим обедом. Том даже не подозревал, что они существуют.

Все присутствующие были предварительно вышколены, целый час им внушали не забывать, что у принца временное помрачение рассудка, и не удивляться его причудам. Вскоре эти «причуды» обнаружались перед ними вполне, но вызвали не насмешки, а только сострадание и грусть. Слугам горько было видеть, что их возлюбленный принц поражен такой тяжелой болезнью.

Бедный Том брал кушанья прямо руками, но никто не позволил себе улыбнуться или хотя бы подать вид, что заметил его поведение. Он с любопытством и глубоким интересом разглядывал свою салфетку, потому что ткань ее была очень тонка и красива, и, наконец, простодушно сказал:

— Пожалуйста, унесите ее прочь, чтобы я как-нибудь нечаянно не запачкал ее.

Наследственный подвязыватель салфетки без всяких возражений почтительно убрал ее.

Том с любопытством разглядывал репу и салат, а потом спросил, что это такое и можно ли это есть, потому что и репу и салат лишь незадолго до того перестали вывозить из Голландии как особое лакомство и начали выращивать в Англии. На его вопрос ответили серьезно и почтительно, не выказав ни тени удивления. Покончив с десертом, он набил себе карманы орехами; но никто не удивился такому поступку, — все притворились, будто не замечают его.

Зато вскоре самому Тому пришлось почувствовать, что он допустил оплошность. Он очень сконфузился, так как за весь обед это было первое, что ему позволили сделать собственными руками, и он не сомневался, что сделал что-то очень неприличное, не

подобающее королевскому сану. Дело в том, что мышцы его носа стали подергиваться. Кончик носа сморщился и вздернулся кверху. Это состояние затягивалось, и тревога Тома росла. Он с мольбою глядел то на одного, то на другого из окружавших его лордов, даже слезы выступили у него на глазах. Лорды бросились к нему с огорченными лицами, умоляя сказать, что случилось. Том сказал с неподдельным страданием в голосе:

— Прошу снисхождения, милорды: у меня мучительно чешется нос. Каковы обряды и обычаи, соблюдаемые здесь при этих чрезвычайных обстоятельствах? Пожалуйста, поспешите ответом, дольше я не в силах терпеть!

Никто не улыбнулся. Напротив: у всех были скорбные, растерянные лица, все смущенно переглядывались, как бы спрашивая друг у друга совета. Но перед ними была глухая стена, и во всей английской истории ничто не указывало, как через нее перешагнуть. Главного церемониймейстера не было, и никто не дерзал пуститься в плавание по этому неведомому морю, никто не отваживался разрешить на свой риск столь важную, серьезную проблему. Увы! Наследственного чесальщика в Англии не существовало. Тем временем слезы вышли из своих берегов и потекли у Тома по щекам. Нос все настойчивее требовал, чтобы его почесали, и, наконец, природа прорвалась сквозь преграды придворного этикета, и Том, мысленно молясь о прощении, если он поступает неправильно, облегчил удрученные сердца приближенных, собственноручно почесав свой нос.

Когда обед кончился, один из лордов поднес Тому большой неглубокий сосуд из чистого золота, наполненный ароматной розовой водой для полоскания рта и омовения пальцев. Наследственный подвязыватель салфетки встал поблизости, держа наготове полотенце. Том несколько времени в недоумении рассматривал таз, потом взял его в руки, поднес к губам и с самым серьезным видом отпил из него глоток. Потом возвратил его лорду-прислужнику:

— Нет, милорд, это мне не по вкусу. Запах приятный, но крепости никакой.

Эта новая сумасбродная выходка принца, еще раз доказывавшая, что рассудок его поврежден, болезненно отозвалась во всех сердцах и никому не показалась забавной.

А Том, сам того не зная, сделал еще одну оплошность: поднялся с места и вышел из-за стола как раз в ту минуту, когда придворный священник встал у него за креслом,

поднял руки и возвел глаза к небу, готовясь начать благодарственную молитву. Но и тут никто как будто не заметил, что принц совершает необычный поступок.

Теперь нашего маленького друга по его настойчивой просьбе отвели в кабинет принца Уэльского и предоставили себе самому. По стенам, по дубовым панелям, в кабинете висели на особых крючках различные части блестящего стального вооружения с чудесной золотой инкрустацией. Все эти доспехи принадлежали принцу и были недавно подарены ему королевой, мадам Парр[9].

Там надел наголенники, рукавицы, шлем с перьями и все остальное, что можно надеть без посторонней помощи; он хотел было позвать кого-нибудь, чтобы ему помогли завершить туалет, но вспомнил об орехах, принесенных с обеда, и, подумав, как весело будет грызть их не на глазах у толпы, без всяких великих наследственных лордов, которые докучают тебе непрощенными услугами, поспешил развесить все эти прекрасные доспехи по местам. Скоро он уже щелкал орехи и чувствовал себя почти счастливым, впервые после того, как господь бог в наказание за его грехи превратил его в королевского сына. Когда все орехи были съедены, он заметил в шкафчике несколько книг с заманчивыми названиями, в том числе одну об этикете при английском дворе. То была ценная находка! Он улегся на роскошный диван и самым добросовестным образом принялся за изучение этой науки. Оставим его там до поры до времени.

8. Вопрос о печати

Около пяти часов Генрих VIII очнулся от неосвежающей тяжелой дремоты и пробормотал про себя:

— Тревожные сны, тревожные сны! Уже недалек мой конец, и сны предвещают его. Слабеющее дыхание подтверждает предзнаменования снов.

Вдруг злобное пламя сверкнуло в глазах короля, и он проговорил еле слышно:

— Но тот умрет раньше меня!

Придворные заметили, что король проснулся, и один из них спросил, угодно ли будет его величеству принять лорда-канцлера, который дожидается в соседней комнате.

— Пусть войдет! Пусть войдет! — нетерпеливо крикнул король.

Лорд-канцлер вошел и, склонив колено перед королевским ложем, сказал:

— По указу вашего величества, пэры королевства в парадных одеждах находятся в зале суда и, приговорив к смерти герцога Норфолкского, почтительно ожидают ваших повелений.

Лицо короля озарилось свирепой радостью.

— Поднимите меня! — приказал он. — Я сам предстану пред моим парламентом и собственною моею рукою приложу печать к приговору, избавляющему меня от...

Голос его оборвался, краска на щеках сменилась пепельной бледностью. Придворные опустили его на подушки и поспешили привести в чувство аптечными снадобьями. Немного погодя король грустно сказал:

— Увы, как жаждал я этого сладкого часа, и вот он приходит слишком поздно и мне не дано насладиться столь желанным событием. Иди же, иди скорее, — пусть другие исполнят этот радостный долг, который я бессилён исполнить. Я доверяю мою большую печать особой государственной комиссии; выбери сам тех лордов, из которых будет состоять эта комиссия, и тотчас же принимайтесь за дело. Торопись, говорю тебе! Прежде чем солнце взойдет и опустится снова, принеси мне голову Норфолка, чтобы я мог взглянуть на нее.

— Воля короля будет исполнена. Не угодно ли вашему величеству отдать приказание, чтобы мне вручили теперь же большую печать, дабы я мог совершить это дело.

— Печать? Но ведь печать хранится у тебя!

— Простите, ваше величество! Два дня назад вы сами взяли ее у меня и при этом сказали, что никто не должен касаться ее, пока вы своей королевской рукой не скрепите смертного приговора герцогу Норфолкскому.

— Да, помню... я действительно взял ее... помню... Но куда я девал ее?.. Я так ослабел... В последние дни память изменяет мне все чаще и чаще. Все это так странно, так странно...

И король залепетал что-то невнятное, тихо покачивая седой головой и безуспешно стараясь сообразить, что же он сделал с печатью.

Наконец милорд Гертфорд осмелился преклонить колени и напомнить ему:

— Дерзаю доложить вашему величеству: здесь многие, в том числе и я, помнят, что вы вручили большую государственную печать его высочеству принцу Уэльскому, чтобы он хранил ее у себя до того дня, когда...

— Правда, истинная правда! — воскликнул король. — Принеси же ее! Да скорее: время летит!

Лорд Гертфорд со всех ног побежал к Тому, но вскоре вернулся смущенный, с пустыми руками, и сказал:

— С прискорбием я должен сообщить моему повелителю королю тягостную и безотрадную весть: по воле божией болезнь принца еще не прошла, и он не может припомнить, была ли отдана ему большая печать. Я поспешил доложить об этом вашему величеству, полагая, что вряд ли стоит разыскивать ее по длинной анфиладе обширных покоев, принадлежащих его высочеству. Это было бы потерей драгоценного времени и...

Стон короля прервал его речь. С глубокой грустью в голосе король произнес:

— Не беспокойте его! Бедный ребенок. Десница господня тяжело легла на него, и мое сердце разрывается от любви и сострадания к нему и скорбит, что я не могу взять его бремя на свои старые, удрученные заботами плечи, дабы он был спокоен и счастлив.

Король закрыл глаза, пробормотал что-то и смолк. Через некоторое время глаза его снова открылись. Он повел вокруг себя бессмысленным взглядом, и, наконец, взор его остановился на коленопреклоненном лорде-канцлере. Мгновенно лицо его вспыхнуло гневом.

— Как, ты еще здесь? Клянусь господом богом, если ты сегодня же не покончишь с изменником, завтра твоя шляпа останется праздною, так как ее не на что будет надеть.

Канцлер, дрожа всем телом, воскликнул:

— Смидитесь, ваше величество, мой добрый король! Я жду королевской печати.

— Ты, кажется, рехнулся, любезнейший! Малая печать, та, которую прежде возил я с собою в чужие края, лежит у меня в сокровищнице. И если исчезла большая, разве тебе недостаточно малой? Ступай! И — слышишь? — не смей возвращаться без его головы.

Бедный канцлер с величайшей поспешностью убежал от опасного королевского гнева; а комиссия не замедлила утвердить приговор, вынесенный раболепным парламентом, и назначить на следующее утро казнь первого пэра Англии, злополучного герцога Норфолкского.

9. Праздник на реке

В девять часов вечера весь широкий фасад дворца, выходящий на реку, засверкал веселыми огнями. В сторону города река, насколько хватало взгляда, была сплошь покрыта рыбацкими барками и увеселительными судами; вся эта флотилия, увешанная разноцветными фонариками, тихо колыхалась на волнах и была похожа на бесконечный сияющий сад, цветы которого тихо колеблются от дуновения летнего ветра. Великолепная терраса с каменными ступенями, ведущими к воде, была так широка, что на ней могла бы поместиться вся армия какого-нибудь немецкого княжества. На террасе выстроились ряды королевских алебардчиков в блестящих доспехах, и множество слуг сновало вверх и вниз, взад и вперед, торопливо заканчивая последние приготовления.

Но вот раздался чей-то приказ, и в тот же миг на террасе не осталось ни одного живого существа. Самый воздух, казалось, замер от напряженного ожидания. Вся река была полна мириадами людей, которые, стоя в лодках и заслоняя руками глаза от яркого света фонарей и факелов, устремляли взоры по направлению к дворцу.

К ступеням террасы подплывали одно за другим золоченые придворные суда. Их было сорок или пятьдесят. У каждого высокий нос и высокая корма были покрыты искусной резьбой. Одни суда были изукрашены знаменами и узкими флажками, другие — золотой парчой и разноцветными тканями с вышитым на них фамильным гербом, а иные — шелковыми флагами. К этим шелковым флагом было привешено несметное множество серебряных бубенчиков, из которых при малейшем дуновении ветра так и сыпались во все стороны веселые брызги музыки. Суда, принадлежавшие лордам свиты принца Уэльского, были убраны еще более вычурно: их борта были обвешаны

расписными щитами с изображением различных гербов. Каждую королевскую барку тянуло на буксире маленькое судно. Кроме гребцов, на каждом из этих судов сидели воины в сверкающих шлемах и латах, а также музыканты.

В главных воротах уже появился авангард ожидаемой процессии — отряд алебардщиков. «Алебардщики были одеты в черные штаны с бурыми полосками, бархатные шапочки, украшенные сбоку серебряными розами, и камзолы из темно-красного и голубого сукна с вышитыми золотом тремя перьями — гербом принца — на спине и на груди; древки их алебард были обтянуты алым бархатом с золочеными гвоздиками и золотыми кистями. Алебардщики выстроились в две длинные шеренги, тянувшиеся по обеим сторонам лестницы от дворцовых ворот до самой воды. Между этими двумя шеренгами лакеи принца в золотисто-алых ливреях растянули плотную полосатую ткань, или ковер. Как только это было исполнено, во дворце раздались звуки труб, музыканты, находившиеся в лодках, грянули веселую прелюдию, и два церемониймейстера с белыми булавами вышли медленной и величавой поступью из ворот. За ними следовал офицер с гражданским жезлом; за этим офицером — другой, несущий меч города; затем несколько сержантов городской стражи в полной парадной форме и с нашивками на рукавах; затем герольдмейстер ордена Подвязки в мантии, надетой сверх лат; вслед за ним несколько рыцарей ордена Бани, вое с белым кружевом на рукавах; за ними их оруженосцы; потом судьи в алых мантиях и шапочках; затем лорд-канцлер Англии в открытой спереди пурпуровой мантии, отороченной мехом горноста; затем депутация от городских гильдий в ярко-пунцовых плащах и, наконец, главы различных гражданских обществ в полном параде. Далее появились и сошли вниз по ступенькам двенадцать французских вельмож в роскошных нарядах, состоявших из шелковых стеганых белых камзолов с золотыми полосками, коротких плащей красного бархата, на подкладке из лиловой тафты, и *hauts-de-chausses*[10] багрового цвета. Они составляли свиту французского паса. За ними шли двенадцать кавалеров из свиты испанского посла, одетые в черный бархат, без всяких украшений. За ними следовало несколько знатнейших английских вельмож, каждый со своей свитой».

Во дворце загремели трубы, и в воротах появился дядя принца, будущий великий герцог Сомерсетский, в «камзоле из черной с золотом парчи и в малиновом атласном плаще, затканном серебряной сеткой и золотыми цветами». Он повернулся, приподнял шапочку с перьями, изогнул стан в низком, почтительном поклоне и начал спускаться спиной к толпе, кланяясь на каждой ступеньке.

Вслед за тем раздались продолжительные звуки фанфар и возгласы: «Дорогу его высочеству, могущественному лорду Эдуарду, принцу Уэльскому!» Высоко над дворцовыми стенами взвился длинный ряд красных огненных языков; послышался грохот, будто гром прокатился; вся огромная толпа народа на реке заревела, приветствуя принца, и Том Кенти, виновник и герой всего этого торжества, появился на террасе, слегка кивая царственной головой.

На нем был «великолепный белый атласный камзол с нагрудником из алой парчи, усеянный алмазной пылью и опушенный горностаем. Поверх камзола накинут был белый с золотом парчовый плащ с изображением герба из трех перьев, подбитый голубым атласом, испещренный жемчугами и другими драгоценными камнями и застегнутый брильянтовой пряжкой. На шее у него висели орден Подвязки и многие иноземные ордена», — всякий раз, когда на него падал свет, драгоценные камни сияли ослепительным блеском. О! Том Кенти, рожденный в лачуге, возвращенный в лондонских зловонных канавах, близко знакомый с лохмотьями, нищетою и грязью, — какое зрелище представлял он собою!

10. Злоключения принца

Мы оставили Джона Кенти в ту минуту, когда он тащил подлинного, законного принца во Двор Отбросов, а крикливая чернь, радуясь новой потехе, преследовала его по пятам. Нашелся только один человек, который вступился за пленника, но этого человека никто не стал слушать, да вряд ли кто и расслышал его — такой был оглушительный шум. Принц продолжал отбиваться, возмущаясь жестокостью своего угнетателя. Джон Кенти, наконец, потерял и ту малую долю терпения, которая еще осталась в нем, и яростно замахнулся на принца дубиной. Единственный защитник мальчика подбежал, чтобы предотвратить избиение, и удар пришелся ему по руке.

— Что ты суешься? — заревел Джон Кенти. — Вот же тебе, получай!

Непрошенный защитник получил удар дубиной по черепу — раздался стон, темное тело свалилось на землю, под ноги набежавшей толпы. Через минуту убитый остался лежать один в темноте, а толпа уже мчалась дальше, — этот случай не омрачил ее веселья.

Вскоре принц очутился в жилище Джона Кенти. Наружная дверь была заперта от всех посторонних. При тусклом свете сальной свечи, вставленной в бутылку, принц едва мог рассмотреть очертания гнусной трущобы и ее обитателей. В углу, у стены, с видом животных, привыкших к жестокому обращению, сидели, скорчившись на полу, две девочки-замарашки и женщина средних лет; они в страхе ожидали побоев. Из Другого угла выползла тощая старая ведьма, седая, растрепанная, со злыми глазами.

— Отойди, не мешай! — обратился к ней Джон Кенти. — Тут у нас идет такая комедия, что любо. Ты останься в сторонке, пока не позабавишься всласть, а потом уж бей его, сколько хочешь. Поди сюда, милый! Ну-ка, повтори, свои дурацкие речи, если еще не забыл их. Как тебя зовут? Ты кто такой?

От обиды кровь снова прихлынула к щекам юного принца, и он посмотрел Джону прямо в лицо пристальным, негодующим взглядом.

— Ты наглец! — сказал он. — Ты не смеешь требовать, чтобы я говорил. Повторяю тебе еще раз: я Эдуард, принц Уэльский, и никто другой.

Старая ведьма была так ошеломлена этим ответом, что ноги ее не сдвинулись с места, словно были прибиты к полу гвоздями; у нее даже дух захватило. С глупым недоумением уставилась старуха на принца, и это показалось ее свирепому сыну таким забавным, что он разразился хохотом.

Но на мать и сестер Тома Кенти слова принца произвели совсем другое впечатление: за минуту перед тем они боялись, что отец искалечит несчастного, теперь же эта тревога сменилась другою. С выражением горя и ужаса они подбежали к принцу и заголосили:

— О бедный Том, бедный мальчик!

Мать упала на колени перед принцем, положила руки ему на плечи и сквозь выступившие слезы взволнованно глядела ему в глаза.

— Бедный ты мой мальчик! — сказала она. — Твои глупые книжки сделали, наконец, свое недоброе дело и отняли у тебя рассудок. И за что они тебе так полюбились? Сколько раз я предупреждала тебя! Разбил ты мое материнское сердце!

Принц посмотрел ей в лицо и учтиво сказал:

— Твой сын здоров и не терял рассудка, добрая женщина! Успокойся! Отпусти меня во дворец, где он обретается ныне, и король, мой отец, возвратит тебе его без промедления.

— Король — твой отец! О дитя мое! Умоляю тебя, не повторяй этих слов, грозящих тебе смертью и всем твоим близким — погибелью! Стряхни с себя этот отвратительный сон! Память твоя заблудилась, верни ее на истинный путь! Посмотри на меня — разве я не твоя мать, которая родила тебя и любит тебя?

Принц покачал головой и неохотно ответил:

— Бог свидетель, как тяжело мне огорчать твое сердце, но, право же, я никогда не видал твоего лица.

Женщина опять села на пол и разразилась душераздирающими рыданиями и воплями.

— Ну что ж! Продолжайте комедию! — заревел Кенти. — Эй вы, Нэн и Бэт! Этакие невежи! Что же вы стоите в присутствии принца? На колени, вы, нищенское отродье, да кланяйтесь ему хорошенько! — И он опять залился грубым хохотом.

Девочки робко вступились за брата.

— Пошли его спать, отец! — сказала Нэн. — Пусть он выспится, отдохнет, и рассудок вернется к нему. Вели ему ложиться поскорее.

— Да, да, отпусти его спать, — сказала Бэт. — Разве ты не видишь, какой он сегодня усталый. Если ты дашь ему отдых, он завтра будет усерднее просить подаяния и воротится домой не с пустыми руками.

Эти слова отрезвили отца, и веселость его мгновенно исчезла. Мысли его направились на деловые заботы. Он сердито повернулся к принцу и сказал:

— Завтра мы должны заплатить два пенса хозяину этой дыры. Два пенса за полгода... немалая плата... Иначе нас выгонят вон. Покажи, что ты собрал сегодня! Тебе, лодырю, и просить неохота.

Принц сказал:

— Не оскорбляй меня своими пошлыми дразгами! Повторяю тебе: я — сын короля.

Раздался звонкий удар — тяжелая рука Джона Кенти опустилась с размаху на плечо принца, и тот упал бы, если бы его не подхватила мать Тома; прижимая его к своей груди, она собственным телом защищала его от хлещущего града пинков и ударов. Перепуганные девочки забились в угол, но на помощь сыну поспешила пылавшая злобой бабка. Принц вырвался из рук миссис Кенти и крикнул:

— Вы не должны страдать из-за меня, сударыня! Пусть эти свиньи тешатся надо мною одним.

Услыхав это, «свиньи» до того рассвирепели, что, не теряя времени, набросились на принца и жестоко исколотили его да кстати прибили и девочек с матерью за сочувствие к жертве.

— А теперь, — сказал Кенти, — все спать! Мне уже прискучила эта комедия!

Погасили огонь, и семья улеглась. Когда Джон и бабка захрапели, девочки пробрались к тому месту, где лежал принц, и заботливо укрыли его от холода соломой и ветошью. Потом к нему подкралась их мать и гладила его по волосам и плакала над ним, шепча ему на ухо несвязные слова жалости и утешения. Она сберегла для него немного еды, но от боли мальчик потерял аппетит — по крайней мере черные невкусные корки нисколько не привлекали его. Принц был тронут ее состраданием и смелым заступничеством и, поблагодарив ее в изысканных выражениях, посоветовал ей пойти спать и попытаться забыть свое горе. Он прибавил, что король, его отец, не оставит ее верности и доброты без награды. Этот новый припадок «безумия» сокрушил сердце бедной матери; она снова и снова прижимала его к груди и, наконец, ушла на свою постель вся в слезах.

И вот, в то время, как она лежала и плакала, раздумывая обо всем происшедшем, в голову ее закралась мысль, что в этом мальчике есть что-то такое неуловимое, почти незаметное, чего не было в Томе Кенти, будь он безумный или в здравом уме. Она не могла бы сказать, что именно вызывало ее сомнения, но сильный материнский инстинкт подсказывал ей, что чем-то этот мальчик чужой. А вдруг он ей и вправду не сын? О, нелепость! Она чуть не улыбнулась при этой мысли, несмотря на все свои тревоги и горести. И, однако, она вскоре убедилась, что навязчивая мысль не покидает ее. Эта мысль преследовала ее, смущала ее, изнуряла; женщина не в силах была отогнать эту мысль от себя. Наконец она поняла, что ей не будет покоя, пока она не подвергнет мальчика испытанию и не узнает наверное — ее ли он сын, или нет, иначе ей не избавиться от докучных и невыносимых сомнений. Да, конечно, то был лучший

способ покончить со всеми тревогами, и она стала тут же придумывать, к какому ей прибегнуть испытанию; но как она не раскидывала умом, ни одно придуманное ею испытание не казалось ей абсолютно верным, абсолютно надежным, а ненадежные были для нее непригодны. Очевидно, она напрасно ломает себе голову, надо отказаться от этой затеи. Но в ту минуту, как она пришла к такому грустному заключению, ее слуха коснулось ровное дыхание мальчика: было ясно, что он уснул. Она стала прислушиваться к его мерному дыханию. Вдруг спящий тихонько вскрикнул, как вскрикивают во время тревожного сна. Эта случайность мгновенно подсказала ей план, стоивший всех остальных. С лихорадочной поспешностью, но бесшумно, она стала вновь зажигать свечу, бормоча про себя: «Если бы я увидела его в ту минуту, я бы сразу узнала всю правду. С самых младенческих лет — с того дня, как у него перед глазами взорвался порох, — у него появилась привычка прикрывать глаза не ладонью внутрь, а ладонью наружу, не так, как прикрыли бы другие. Стоит только испугать его во время сна или глубокой задумчивости, и он повторит это движение. Я видела сотни раз; он всегда поступает так, всегда одинаково. Теперь я узнаю, узнаю!»

Со свечою в руке, заслонив огонек, она тихо подкралась к спящему, осторожно наклонилась над ним, чуть дыша от волнения, и вдруг придвинула свечу к самым его глазам, отняла руку, закрывавшую пламя, и в ту же минуту у самого его уха стукнула об пол костяшками пальцев. Спящий широко раскрыл глаза, повел вокруг себя удивленным взглядом, но не сделал никаких особенных жестов.

Бедная женщина чуть не лишилась чувств от изумления и горя, но постаралась скрыть свою тревогу и успокоила мальчика, так что он снова уснул; тогда она ушла от него, грустно размышляя о страшных результатах своего испытания. Она хотела убедить себя, что ее Том позабыл свои привычные жесты под влиянием безумия, но это ей никак не удавалось.

«Нет, — думала она, — ведь руки-то у него не безумные! Не могли же они отвыкнуть от старой привычки в такое короткое время. О, как тяжел для меня этот день!»

Но теперь упрямые сомнения сменились у нее в сердце такой же упрямой надеждой; она не могла заставить себя примириться с той истиной, которую так достоверно узнала. «Надо попробовать вновь, эта неудача — случайность». И она второй и третий раз через некоторые промежутки времени неожиданно будила

мальчугана, но, как и в первый раз, он спросонок не сделал никакого движения рукой. Она едва добрела до постели и погрузилась в сон совсем разбитая.

«Но я не могу отречься от него! Нет, не могу, не могу! Я не хочу допустить, чтобы это был не мой сын».

Теперь, когда бедная мать уже не тревожила принца, его огорчения мало-помалу утратили власть над ним, страшная усталость взяла верх, и веки его сомкнулись в глубоком, спокойном сне. Часы проходили, а он все спал как убитый. Так прошло часа четыре или пять. Потом оцепенение ослабело, он пошевелился и пробормотал сквозь сон:

— Сэр Вильям!

И через минуту опять:

— Сэр Вильям!

И снова:

— Сэр Вильям Герберт, поди-ка сюда, послушай, какой странный сон мне привиделся... Такого сна я еще никогда не видел! Сэр Вильям, ты слышишь? Мне приснилось, что меня подменили, что я стал нищим и... Эй, сюда! Стража! Сэр Вильям! Как, здесь даже нет дежурного лакея? Ну, погодите же! Я дам задам!..

— Что с тобой? — прошептал чей-то голос. — Кого ты зовешь?

— Сэра Вильяма Герберта. А ты кто такая?

— Я? Кто же, как не сестра твоя Нэн? О! Том, я и забыла! Ты все еще сумасшедший! Бедняга! Лучше бы мне не просыпаться, чем видеть тебя сумасшедшим. Но прошу тебя, придержи свой язык, не то нас всех избьют до смерти!

Изумленный принц приподнялся было с пола, но острая боль от побоев привела его в себя, и он со стоном упал назад, на грязную солому.

— Увы! Значит, это не было сном! — воскликнул он.

Все его тревоги и печали, о которых он совсем позабыл во время глубокого сна, снова вернулись к нему; он вспомнил, что он уже не любимейший королевский сын, на

которого с обожанием смотрит народ, но нищий, отверженный, оборванный пленник, в жалкой норе, пригодной только для диких зверей, в обществе воров и попрошайек.

Погруженный в эти грустные мысли, он не сразу расслышал буйные крики, которые раздавались поблизости, у одного из соседних домов. Через минуту в дверь громко постучали. Джон Кенти перестал храпеть и спросил:

— Кто там стучит? Чего надо?

Чей-то голос ответил:

— Знаешь ли ты, кого уложил ты дубиной?

— Не знаю и знать не хочу.

— Скоро запоешь другую песню. Если хочешь спасти свою шею, беги! Человек этот уже умирает. Это наш поп, отец Эндрью.

— Господ и помилуй! — крикнул Кенти. Он разбудил всю семью и хрипло скомандовал: — Вставайте живей и бегите! Если останетесь тут, вы пропали!

Пять минут спустя все семейство Кенти уже мчалось по улице, спасая свою жизнь. Джон Кенти держал принца за руку и тащил за собой по темному переулку, шепотом внушая ему:

— Смотри, сумасшедший дурак, не смей произносить наше имя. Я выберу себе новое, чтобы сбить с толку этих собак полицейских. Говорю тебе, держи язык за зубами!

И, обращаясь к остальным, он прорычал:

— Если нам случится потерять друг друга, пусть каждый идет к Лондонскому мосту и, как дойдет до крайней лавки суконщика, пусть там поджидает других. Потом мы двинемся все в Саутворк.

В эту минуту семья Кенти неожиданно выступила из тьмы на яркий свет и очутилась в самой гуще толпы, на площади, примыкавшей к Темзе. Толпа пела, плясала, кричала; набережная вверх и вниз по реке представляла собою сплошную линию костров. Лондонский мост был весь освещен, и Саутворкский тоже. Вся Темза сверкала разноцветными огнями; поминутно с треском лопались ракеты, взвиваясь к

небу, и с неба сыпался дождь ослепительных искр, почти превращавших ночь в день. Куда ни глянь, всюду гуляли и бражничали; казалось, весь Лондон высыпал на улицу.

Джон Кенти отвел душу бешеным ругательством и приказал своим спутникам воротиться опять в темноту, но было уже поздно. Он и его семья были поглощены кишашим человеческим ульем и безнадежно разлучены друг с другом. Но так как принц был в этой семье чужаком, Джон Кенти ни на минуту не выпускал его руки. Сердце мальчика радостно билось в надежде на избавление. Стараясь протиснуться сквозь толпу, Кенти сильно толкнул какого-то дюжего лодочника, разгоряченного спиртными напитками, и тот своей огромной ручищей схватил его за плечо и сказал:

— Куда ты так торопишься, друг? Зачем грязнишь свою душу какими-то пустыми делишками, когда у всех добрых людей и верноподданных его величества праздник?

— Не суйся в чужие дела, — грубо отрезал Кенти. — Убери лапу и дай мне пройти.

— Нет, брат, коли так, мы тебя не пропустим, пока ты не выпьешь за здоровье принца Уэльского. Это уж я тебе говорю: не пропустим! — сказал лодочник, решительно загораживая ему дорогу.

— Так давайте чашу, да поскорей, поскорей!

Тем временем этой сценой заинтересовались другие гуляки.

— Чашу любви! Чашу любви! — закричали они. — Заставьте этого грубияна выпить чашу любви, не то мы бросим его на съедение рыбам.[11]

Принесли огромную чашу любви. Лодочник взял ее за одну ручку и, поднимая другою рукою конец воображаемой салфетки, поднес ее, как исстари повелось, Джону Кенти, который, соблюдая древний обычай, взялся одной рукой за другую ручку, а другой рукой должен был снять крышку. Таким образом, ему, конечно, пришлось на секунду выпустить руку принца. Тот, не теряя времени, нырнул в лес человеческих ног, окружавший его, и был таков... Через минуту найти его в этом живом волнующемся море было так же трудно, как найти шестипенсовую монетку, брошенную в Атлантический океан.

Едва только принц понял это, он поспешил заняться своими собственными делами, не думая больше о Джоне Кенти. И другое стало ясно ему: а именно, что город чувствует вместо него — самозваного принца Уэльского.

Из этого он заключил, что маленький нищий, Том Кенти, умышленно воспользовался преимуществом своего необычного положения и бессовестно захватил его власть.

Значит, принцу остается одно: разыскать дорогу в ратушу, явиться туда и обличить самозванца. Принц тут же решил, что Тому нужно дать несколько дней на покаяние перед господом богом, а потом повесить, вздернуть на дыбу и четвертовать его, по тогдашнему закону и обычаю, как виновного в государственной измене.

11. В ратуше

Королевский баркас в сопровождении блестящей флотилии величественно шел вниз по Темзе среди множества ярко освещенных судов. Воздух был насыщен музыкой, на берегах реки бушевало пламя праздничных факелов, город, лежавший вдали, был окутан мягким лучистым заревом от бесчисленных невидимых костров; над ним высились тонкие шпили, усеянные искрами огней; издали эти шпили напоминали длинные пики, разукрашенные драгоценными камнями. На всем пути флотилию приветствовали с берегов неустанные хриплые крики и несмолкаемые пушечные выстрелы.

Для Тома Кенти, утопавшего в шелковых подушках, эти звуки и это зрелище были чудом, несказанно великолепным, поразительным. Но на его юных приятельниц, сидевших с ним рядом, на принцессу Елизавету и леди Джэн Грей, они не производили никакого впечатления.

У Даугэйта флотилия свернула в Баклерсбери по прозрачным водам Уолбрука (русло которого вот уже два столетия засыпано и погребено под целыми милями сплошных зданий), мимо ярко освещенных домов и мостов, усеянных толпами веселых зевак, и, наконец, остановилась в бассейне, где ныне находится Бардж Ярд, в самом центре древнего города Лондона. Том в сопровождении блестящей свиты сошел на берег, пересек Чипсайд и после короткого перехода по Старой Джури и по улице Бэзингхолл добрался до ратуши.

Том и его спутницы были встречены с подобающей церемонией лордом-мэром и отцами города в парадных пурпуровых мантиях и с золотыми цепями на шее; их повели через большой зал к королевскому столу, помещавшемуся под роскошным балдахином; впереди шли герольды, возвещая о их прибытии, а также сановники с городским жезлом и мечом. Лорды и леди, назначенные для того, чтобы прислуживать Тому и двум принцессам, стали у них за креслами.

За другим столом, пониже, сидели вельможи и прочие именитые гости вместе с отцами города; члены палаты общин расположились за отдельными столиками, расставленными во множестве в средней части зала. Гигантские статуи Гога и Магога[12] — старинных стражей города — равнодушно смотрели с высоты своих пьедесталов на это обычное для них зрелище: много забытых поколений сменилось у них на глазах. Затрубили трубы, герольды возвестили о начале обеда, и на высоком помосте у левой стены появился толстый дворецкий в сопровождении слуг, несших с величавой торжественностью половину быка, — настоящий королевский ростбиф, горячий, дымящийся, ждущий ножа.

После молитвы Том (его научили заранее) встал (а за ним все остальные) и отпил из огромной золотой «чаши любви», потом передал ее принцессе Елизавете, та в свою очередь — леди Джэн; а затем чаша обошла весь зал. Так начался банкет.

К полуночи, когда пир был в полном разгаре, толпу угостили одним из тех живописных зрелищ, которыми так восхищались наши предки. Описание его до сих пор сохранилось в причудливом рассказе очевидца-историка:

«Очистили место, и затем вошли граф и барон, одетые, по турецкому обычаю, в длинные халаты из расшитой шелками парчи, усеянной золотыми блестками; на головах у них были чалмы из малинового бархата, перевитые толстыми золотыми шнурами; у каждого за поясом висело на широкой золотой перевязи по две сабли, именуемые ятаганами. За ними следовали другой граф и другой барон в длинных кафтанах желтого атласа с поперечными белыми полосками, в каждой белой полоске была алая, тоже атласная; согласно русскому обычаю, они были в серых меховых шапках и сапогах с загогулинами, то есть с длинными загнутыми сверху носками (около фута в длину); у каждого в руке был топор. Далее следовал некий рыцарь, за ним лорд-адмирал и пятеро дворян в малиновых бархатных камзолах, низко вырезанных сзади, а спереди — до самых ключиц, причем серебряные цепочки сплетались у них на груди; поверх камзолов на них были короткие плащи из

малинового атласа, на голове же шапочки с фазаньими перьями — вроде тех, какие носят танцоры, — эти были наряжены по прусскому обычаю. Затем вошли факельщики, числом до сотни, одетые, как мавры, в красный и зеленый атлас; а лица у них были черные. Потом явились ряженые — в машкерах. Потом выступили менестрели и стали плясать, а за ними и лорды и леди тоже закружились в такой бешеной пляске, что было любо смотреть!»

Пока Том со своего возвышения любовался этой «бешеной» пляской, замирая от восторга перед пестрым калейдоскопом красок, каким представлялось ему неистовое кружение разноцветных фигур, вертящихся там, внизу, — оборванный, но настоящий принц Уэльский у ворот ратуши громко заявлял свои права, жаловался на свои обиды и, требуя, чтобы его впустили, обличал самозванца. Это забавляло толпу чрезвычайно; все теснились вперед, вытягивая шеи, чтобы взглянуть на маленького бунтаря, потом стали трунить и глумиться над ним ради потехи, чтобы еще больше раззадорить его. Оскорбленный до слез, он все же стоял на своем, с королевской надменностью бросая вызов толпе. Насмешки не прекращались, новые издевательства язвили его, и он, наконец, закричал:

— Вы, свора невоспитанных псов! Говорят вам, я — принц Уэльский! И хоть я одинок и покинут друзьями и нет никого, кто сказал бы мне доброе слово или захотел помочь мне в беде, — все же я не уступлю своих прав и буду отстаивать их!

— Принц ты или не принц — все равно: ты храбрый малый, и отныне не смей говорить, что у тебя нет ни единого друга! Вот я стану рядом с тобою и докажу тебе, что ты ошибаешься. И, клянусь тебе, Майлс Гендон не худший из тех, кого ты мог бы найти себе в качестве друга, не слишком утомив себя поисками. Дай отдохнуть своему языку, дитя мое, а я поговорю с этими подлыми крысами на их родном наречии.

Говоривший был высок, хорошо сложен, мускулист. По одежде, по всем своим ухваткам и даже по внешности он смахивал на дону Цезаря де Базана[13]. Его камзол и штаны были из дорогой материи, но материя выцвела и была протерта до ниток, а золотые галуны плачевно потускнели; брыжи на воротнике были измяты и продраны, широкие поля шляпы опущены книзу; перо на шляпе было сломано, забрызгано грязью и вообще имело изрядно потрепанный вид, не внушавший большого уважения; на боку у незнакомца болталась длинная шпага в заржавленных железных ножнах. Задорная осанка сразу выдавала в нем лихого забияку. Речь этого диковинного воина была встречена взрывом насмешек и хохота, посыпались крики: «Вот еще один ряженный

принц!» — «Берегись, приятель, своего языка, не то наживешь с ним беды!» — «У, какие у него злые глаза!» — «Оттащи от него мальчишку, волоки щенка в пруд!»

Мгновенно осуществляя эту счастливую мысль, кто-то схватил принца за шиворот, но незнакомец так же мгновенно обнажил шпагу и свалил дерзкого наземь звонким ударом плашмя. Тотчас же десять голосов закричало: «Убить этого пса! Бей его! Бей!» И толпа набросилась на воина; а тот прислонился к стене и, как безумный, размахивал длинной шпагой, раскидывая вокруг себя наступавших. Жертвы падали справа и слева, но толпа, топча их ногами, накидывалась на героя с неослабевающей яростью. Минуты его были, казалось, уже сочтены и гибель неизбежна, как вдруг затрубила труба и чей-то голос загремел:

— Дорогу королевскому гонцу!

Прямо на толпу скакал конный отряд. Все бросились кто куда, врассыпную, а храбрый незнакомец подхватил принца на руки и скоро был далеко от толпы и вне опасности.

Но вернемся в ратушу. Заглушая шумное ликование пирующих, внезапно в залу ворвался чистый и четкий звук рога. Мгновенно наступила тишина, и в глубоком безмолвии раздался один голос — голос вестника, присланного из дворца. Все как один человек встали и обратились в слух.

Речь гонца завершилась торжественным возгласом:

— Король умер!

Словно по команде, все склонили головы на грудь и несколько мгновений оставались в полном молчании, потом бросились на колени перед Томом, простирая к нему руки с оглушительными криками, от которых, казалось, задрожало все здание:

— Да здравствует король!

Взоры бедного Тома, ослепленного этим поразительным зрелищем, растерянно блуждали по сторонам и остановились на принцессах, опустившихся перед ним на колени, потом на лорде Гертфорде. На лице его выразилась решимость. Он нагнулся к лорду Гертфорду и шепнул ему на ухо:

— Скажи мне правду, по чести, по совести! Если бы я сейчас отдал приказ, какого никто не имеет права отдать, кроме короля, был бы этот приказ исполнен? Никто не встал бы и не крикнул бы «нет»?

— Никто, государь, ни один человек в целом королевстве. В лице твоём повелевает владыка Англии. Ты — король, твоя воля — закон.

Тогда Том проговорил твердым голосом, горячо, с большим одушевлением:

— Так пусть же отныне воля короля будет законом милости, а не законом крови. Встань с колен и скорее в Тауэр! Объяви королевскую волю: герцог Норфолкский останется жив!

Слова эти мгновенно были подхвачены и, передаваясь из уст в уста, облетели весь зал. И не успел Гертфорд выйти, как стены ратуши снова потряс оглушительный крик:

— Кончилось царство крови! Да здравствует Эдуард, король Англии!

12. Принц и его избавитель

Выбравшись из толпы, Майлс Гендон и маленький принц разными задворками и закоулками стали пробираться к реке. Они легко, без помехи дошли до Лондонского моста, но тут снова попали в густую толпу. Гендон крепко держал за руку принца — нет, короля, — потрясающая новость уже разнеслась по всему городу, и мальчик слышал, как тысячи голосов повторяли зарез: «Король умер!» При этой вести леденящий холод проник в сердце несчастного, бездомного сироты, и он задрожал всем телом. Он сознавал, как велика его потеря, и был глубоко огорчен ею, потому что беспощадный тиран, наводивший ужас на всех, всегда был добр и ласков к нему. Слезы застилали мальчику глаза, и все окружающие предметы представлялись ему словно в тумане. В эту минуту он чувствовал себя самым покинутым, самым отверженным и забытым существом во всем мире. Но вдруг иные возгласы донеслись до него, прорезая ночь, словно раскаты грома:

— Да здравствует король Эдуард Шестой!

При этих криках глаза принца засверкали, он весь с головы до пят затрепетал от гордости.

«Ах, — думал он, — как это замечательно и как странно: я — король!»

Наши друзья с трудом пролагали себе путь сквозь густую толпу, заполнявшую мост. Этот мост был прелюбопытным явлением: он существовал уже шестьсот лет и все это время служил чем-то вроде очень людной и шумной проезжей дороги, по обе стороны которой, от одного берега до другого, тянулись ряды складов и лавок с жилыми помещениями в верхних этажах. Мост сам по себе был чем-то вроде отдельного города; здесь была своя харчевня, были свои пивные, пекарни, мелочные лавки, свои съестные рынки, свои ремесленные мастерские и даже своя церковь. На двух соседей, которых он связывал воедино, на Лондон и Саутворк, мост смотрел как на пригороды и только в этом видел их значение. Обитатели Лондонского моста составляли, так сказать, корпорацию; город у них был узенький, всего в одну улицу длиною в пятую часть мили. Здесь, как в деревне, каждый знал подноготную каждого, знал всех предков своего соседа и все их семейные тайны. На мосту, само собою, была и своя аристократия — почтенные старинные роды мясников, пекарей и других, по пятьсот — шестьсот лет торговавшие в одних и тех же лавчонках, знавшие от доски до доски всю славную историю моста со всеми его диковинными преданиями, эти уж всегда и говорили особым, «мостовым» языком, и думали «мостовыми» мыслями, и лгали весьма пространно, выразительно и основательно, как умели лгать лишь на мосту. Население моста было невежественно, узколобо, спесиво. Иным оно и быть не могло: дети рождались на мосту, вырастали на мосту, доживали там до старости и умирали, ни разу не побывав в другой части света, кроме Лондонского моста. Эти люди, естественно, воображали, что нескончаемое шествие, двигавшееся через мост день и ночь, смешанный гул криков и возгласов, ржание коней, мычание коров, блеяние овец и вечный топот ног, напоминавший отдаленные раскаты грома, — было единственной ценностью во всем мире. Им даже казалось, что они вроде как бы ее хозяева, владельцы. Так оно и было — по крайней мере в те дни, когда король или какой-нибудь герой устраивал торжественную процессию в честь своего благополучного возвращения на родину: жители моста всегда могли за известную плату показывать из своих окон зевакам это пышное зрелище, потому что в Лондоне не было другого места, где шествие могло бы развернуться такой длинной, прямой, непрерывной колонной.

Люди, родившиеся и выросшие на мосту, находили жизнь во всех иных местах нестерпимо скучной и пресной. Рассказывают, будто некий старик семидесяти одного года покинул мост и уехал в деревню на покой, но там он целые ночи ворочался в

постели и был не в состоянии уснуть — так угнетала, давила и страшила его невыносимая тишь. Измучившись вконец, он вернулся на старое место, худой и страшный, как привидение, и мирно уснул, и сладко грезил под колыбельную песню бурливой реки, под топот, грохот, гром Лондонского моста.

В те времена, о которых мы пишем, мост давал своим детям «предметные уроки» по истории Англии; он показывал им посиневшие, разлагавшиеся головы знаменитых людей, надетые на железные палки, которые торчали над воротами моста... Но мы отклонились от темы.

Гендон занимал комнату в небольшой харчевне на мосту. Не успел он со своим юным приятелем добраться до двери, как чей-то грубый голос закричал:

— А, пришел, наконец! Ну, теперь уж ты не убежишь, будь покоен! Вот погоди, я истолку твои кости в такой порошок, что, быть может, это научит тебя не запаздывать... Заставил нас ждать столько времени!..

И Джон Кенти уже протянул руку, чтобы схватить мальчугана.

Майлс Гендон преградил ему дорогу:

— Не торопись, приятель! По-моему, ты напрасно ругаешься. Какое тебе дело до этого мальчика?

— Если тебе так хочется совать нос в чужие дела, так знай, что он мой сын.

— Ложь! — горячо воскликнул малолетний король.

— Прекрасно сказано, и я тебе верю, мой мальчик, — все равно, здоровая у тебя голова или с трещиной. Отец он тебе или нет, я не дам тебя бить и мучить этому гнусному негодяю, раз ты предпочитаешь остаться со мной.

— Да, да... я не знаю его, он мне гадок, я лучше умру, чем пойду с ним.

— Значит, конечно, и больше разговаривать не о чем.

— Ну, это мы еще посмотрим! — закричал Джон Кенти, шагнув к мальчику и отстраняя Гендона. — Я его силой...

— Только тронь его, ты, двуногая падаль, и я проколю тебя, как гуся, насквозь! — сказал Гендон, загородив ему дорогу и хватаясь за рукоять шпаги. Кенти попятился.

— Заруби у себя на носу, — продолжал Гендон, — что я взял этого малыша под защиту, когда на него была готова напасть целая орава подобных тебе негодяев и чуть было не прикончила его; так неужели ты думаешь, что я брошу его теперь, когда ему грозит еще худшая участь? Ибо, отец ты ему или нет, — а я уверен, что ты врешь, — для такого мальчика лучше скорая смерть, чем жизнь с таким зверем, как ты. Поэтому проваливай, да поживее, потому что я не охотник до пустых разговоров и не очень-то терпелив от природы.

Джон Кенти отступил, бормоча угрозы и проклятия, и скоро скрылся в толпе. А Гендон со своим питомцем поднялся к себе на третий этаж, предварительно распорядившись, чтобы им принесли поесть. Комната была бедная, с убогой кроватью, со старой, поломанной и разрозненной мебелью, тускло освещенная двумя тощими свечками. Маленький король еле добрал до кровати и повалился на нее, совершенно истощенный голодом и усталостью. Он целый день и часть ночи провел на ногах — был уже третий час — и все это время ничего не ел. Он пробормотал сонным голосом:

— Пожалуйста, разбуди меня, когда накроют на стол! — и тотчас же впал в глубокий сон.

Смех заискрился в глазах Гендона, и он сказал себе:

«Клянусь богом, этот маленький нищий расположился в чужой квартире и на чужой кровати с таким непринужденным изяществом, как будто у себя, в своем доме, — хоть бы сказал „разрешите мне“, или „сделайте милость, позвольте“, или что-нибудь в этом роде. В бреду больного воображения он называет себя принцем Уэльским, и, право, он отлично вошел в свою роль. Бедный, маленький, одинокий мышонок! Без сомнения, его ум повредился из-за того, что с ним обращались так зверски жестоко. Ну что же, я буду его другом, — я его спас, и это сильно привязало меня к нему; я уже успел полюбить дерзкого на язык сорванца. Как бесстрашно сражался он с обнаглевшею чернью — словно настоящий солдат! И какое у него миловидное, приятное и доброе лицо теперь, когда во сне он забыл свои тревоги и горести! Я стану учить его, я его вылечу; я буду ему старшим братом, буду заботиться о нем и беречь его. И кто вздумает глумиться над ним или обижать его, пусть лучше сразу заказывает себе саван, потому что, если потребуется, я пойду за мальчугана хоть в огонь!»

Он наклонился над принцем и ласково, с жалостью, с участием смотрел на него, нежно глядя его юные щеки и откидывая со лба своей большой загорелой рукой его спутавшиеся кудри. По телу мальчика пробежала легкая дрожь.

«Ну вот, — пробормотал Гендон, — как это благородно с моей стороны — оставить его неукрытым! Чего доброго, простудится насмерть! Как же мне быть? Если я его возьму на руки и уложу под одеяло, он проснется, а ведь он так нуждается в отдыхе».

Гендон поискал глазами, чем бы накрыть спящего, но ничего не нашел. Тогда он снял с себя камзол и укутал принца.

«Я привык и к стуже и к легкой одежде, — подумал он. — Холод и сырость мне нипочем».

И он зашагал взад и вперед по комнате, чтобы хоть немного согреться, продолжая разговаривать сам с собой:

«В его поврежденном уме засела мысль, что он принц Уэльский. Странно будет, если здесь у меня останется принц Уэльский, в то время как подлинный принц уже не принц, а король... Но его бедный мозг свихнулся на одной этой выдумке и не сообразит, что теперь уж ему надо забыть о принце и величать себя королем... Я целых семь лет провел в заточении, на чужбине, и ничего не слыхал о доме, но если мой отец жив, он охотно примет несчастного мальчика и великодушно приютит его под своим кровом ради меня, точно так же и мой добрый старший брат Артур. Мой другой брат, Гью... Ну, да я размозжу ему череп, если он вздумает вмешиваться не в свое дело, это злое животное с сердцем лисы! Да, мы поедем туда — и возможно скорее».

Вошел слуга с дымящимся блюдом, поставил его на сосновый столик, придвинул стулья и ушел, полагая, что такие дешевые жильцы могут прислуживать себе сами. Стук хлопнувшей двери разбудил мальчика; он вскочил и сел на кровати, радостно озираясь вокруг; но тотчас же на лице его выразилось огорчение, и он пробормотал про себя с глубоким вздохом:

— Увы, это был только сон! Горе мне, горе!

Тут он заметил на себе камзол Майлса Гендона, перевел глаза на самого Гендона, понял, какую жертву тот ему принес, и ласково сказал:

— Ты добр ко мне! Да, ты очень добр ко мне! Возьми свой камзол и надень, больше он мне не понадобится, — затем он встал, подошел к умывальнику, помещавшемуся в углу, и остановился в ожидании. Гендон с веселым оживлением сказал:

— Какой у нас чудесный ужин! Мы сейчас поедим на славу, потому что еда горяча и вкусна. Не горюй: сон и еда сделают тебя опять человеком!

Мальчик не отвечал, он устремил на высокого рыцаря пристальный взгляд, полный сурового изумления и даже некоторой досады.

Гендон в недоумении спросил:

— Чего не хватает тебе?

— Добрый сэр, я хотел бы умыться...

— Только-то? Ты можешь делать здесь что тебе вздумается, не спрашивая позволения у Майлса Гендона. Будь как дома, не стесняйся, пожалуйста.

Но мальчик не трогался с места и даже раза два нетерпеливо топнул маленькой ногой. Гендон был совсем озадачен.

— Что с тобою? Скажи на милость.

— Пожалуйста, налей мне воды и не говори столько лишних слов!

Гендон чуть было не расхохотался, но, сдержавшись, сказал себе: «Клянусь всеми святыми, это восхитительно!» и поспешил исполнить просьбу своего дерзкого гостя. Он стоял подле, буквально остолбенев, пока его не вывел из оцепенения новый приказ:

— Полотенце!

Майлс взял полотенце, висевшее под самым носом у мальчика, и, ни слова не говоря, подал ему. Потом он стал сам умываться, а его приемный сын в это время уже уселся за стол и готовился приступить к еде. Гендон поспешил покончить с умыванием, придвинул себе другой стул и хотел уже сесть, как вдруг мальчик с негодованием воскликнул:

— Остановись! Ты хочешь сидеть в присутствии короля?

Этот удар поразил Гендона в самое сердце.

«Бедняжка! — пробормотал он. — Его помешательство с каждым часом растет; и это понятно: после той важной перемены, какая произошла в государстве, он воображает себя королем! Ну что же, надо мириться и с этим, иного способа нет, — а то он еще, чего доброго, велит заключить меня в Тауэр». И, довольный этой шуткой, он

отодвинул свой стул, стал за спиной короля и начал прислуживать, как умел, по-придворному.

За едой королевская суровость мальчугана немного смягчилась, и, едва он насытился, у него возникло желание поболтать.

— Ты, кажется, назвал себя Майлсом Гендоном, так ли я расслышал?

— Так, государь, — отвечал Майлс и про себя добавил:

«Если уж подделываться к безумию этого бедного мальчика, так надо именовать его и государем и вашим величеством; не нужно ничего делать наполовину; я должен войти в свою роль до тонкости, иначе я сыграю ее плохо и испорчу все это доброе дело, дело любви и милосердия».

После второго стакана вина король совсем согрелся и сказал:

— Я хотел бы узнать тебя ближе. Расскажи мне свою историю. Ты храбр, и вид у тебя благородный, — ты дворянин?

— Наш род не особенно знатный, ваше величество. Мой отец — мелкий барон, выслужившийся из дворян, сэра Ричард Гендон, из Гендонского замка, близ Монкsgолма, в Кенте.

— Я не припомню такой фамилии. Но продолжай, расскажи мне свою историю.

— Рассказывать придется немного, ваше величество, но, может быть, это позабавит вас на полчаса, за неимением лучшего. Мой отец, сэра Ричард, человек великодушный и очень богатый. Матушка моя умерла, когда я был еще мальчиком. У меня два брата: Артур — старший, душою и нравом в отца; и Гью — моложе меня, низкий, завистливый, вероломный, порочный, лукавый, суцая гадина. Таким он был с самого детства, таким был десять лет назад, когда я в последний раз видел его, — девятнадцатилетний, вполне созревший подлец; мне было тогда двадцать лет, Артуру же двадцать два. В доме, кроме нас, жила еще леди Эдит, моя, кузина, — ей было тогда шестнадцать лет, — прекрасная, добросердечная, кроткая; дочь графа, последняя в роде, наследница большого состояния и прекращавшегося после ее смерти графского титула. Мой отец был ее опекуном. Я любил ее, она меня. Но она была с детства обручена с Артуром, и сэра Ричард не потерпел бы, чтобы подобный договор был нарушен. Артур любил другую и убеждал нас не падать духом и не терять надежды,

что время и счастливая судьба помогут каждому из нас добиться своего. Гью же был влюблен в имущество леди Эдит, хотя уверял, что любит ее самое, — но такова была его всегдашняя тактика: говорить одно, а думать другое. Однако его ухищрения не привели ни к чему: завоевать сердце Эдит ему так и не удалось; он мог обмануть одного лишь отца. Отец любил его больше всех нас и во всем ему верил. Гью был младший сын, и другие ненавидели его, — а этого во все времена бывало достаточно, чтобы завоевать благосклонность родителей; к тому же у него был вкрадчивый, льстивый язык и удивительная способность лгать, — а этими качествами легче всего морочить слепую привязанность. Я был сумасброден, по правде — даже очень сумасброден, хотя сумасбродства мои были невинного свойства, ибо никому не приносили вреда, — только мне. Я никого не опозорил, никого не разорил, не запятнал себя ни преступлением, ни подлостью и вообще не совершил ничего, не подобающего моему благородному имени.

Однако мой брат Гью умел воспользоваться моими проступками. Видя, что Артур слаб здоровьем, и надеясь извлечь выгоду из его смерти, если только удастся устранить меня с дороги, Гью... Впрочем, это длинная история, мой добрый государь, и не стоит ее рассказывать. Короче говоря, младший брат очень ловко преувеличил мои недостатки, выставил их в виде преступлений, и в довершение всех своих низких поступков он нашел в моей комнате шелковую лестницу, подброшенную им же самим, и при помощи этой хитрости, а также показаний подкупленных слуг и других лжесвидетелей убедил моего отца, будто я намерен увезти Эдит и жениться на ней наперекор его воле.

Отец решил отправить меня на три года в изгнание. «Эти три года, вдали от Англии и родительского дома, — сказал он, — может быть, сделают из тебя человека и воина и хоть отчасти научат тебя житейской мудрости». За эти годы моего долгого искуса я участвовал в континентальных войнах, изведал суровую нужду, тяжкие удары судьбы, пережил немало приключений, а в последнем сражении я был взят в плен и целых семь лет томился в чужеземной тюрьме. Благодаря ловкости и мужеству я, наконец, вырвался на свободу и помчался прямо сюда. Я только что приехал. У меня нет ни приличной одежды, ни денег — и еще меньше сведений о том, что происходило за эти семь лет в Гендонском замке, что случилось с ним и его обитателями. Теперь, государь, с вашего позволения, вам известна моя жалкая повесть!

— Ты жертва бесстыдной лжи, — сказал маленький король, сверкнув глазами. — Но я восстановлю твои права, клянусь святым крестом! Это говорит тебе король!

Под влиянием рассказа о злоключениях Майлса у короля развязался язык, и он выложил перед изумленным слушателем все свои недавние невзгоды. Когда он закончил рассказ, Майлс сказал себе:

«Какое, однако, у него богатое воображение! Поистине он обладает необыкновенным талантом, иначе он не сумел бы, будь он здоров или безумен, сплести такую правдоподобную и пеструю сказку что называется из воздуха, из ничего. Бедный свихнувшийся мальчик, покуда я жив, у него будет и друг и убежище. Я не отпущу его от себя ни на шаг; он станет моим баловнем, моим малолетним товарищем. И мы его вылечим, мы вернем ему разум, он непременно прославится, его имя прогремит на всю страну, а я буду везде похваляться: „Да, он мой, я подобрал его, когда он был бездомным оборвышем, но и тогда уже мне было ясно, какие таятся в нем силы, и я предсказывал, что люди со временем услышат о нем. Смотрите на него: разве я не был прав?“

Тут заговорил король вдумчивым, размеренным голосом:

— Ты избавил меня от стыда и обиды, а быть может, спас мою жизнь и, следовательно, мою корону. Такая услуга требует щедрой награды. Скажи мне, чего ты желаешь, и, насколько это в моей королевской власти, твое желание будет исполнено.

Это фантастическое предложение вывело Гендона из задумчивости. Он уже хотел было поблагодарить короля и переменить разговор, сказав, что он только исполнил свой долг и не желает награды, но ему пришла в голову более разумная мысль, и он попросил позволения помолчать несколько минут, чтобы обдумать это милостивое предложение. Король с важностью кивнул головой, заметив, что в делах, имеющих такое большое значение, лучше не торопиться.

Майлс подумал несколько минут и сказал себе:

«Да, именно этой милости и надо просить. Иначе ее невозможно добиться, а между тем опыт только что прошедшего часа показал, что продолжать таким образом было бы и неудобно и утомительно. Да, предложу ему это; как хорошо, что я не отказался от такого благоприятного случая».

Он опустился на колени и промолвил:

— Моя скромная услуга не выходит за пределы простого долга всякого верноподданного, и потому в ней нет ничего замечательного, но раз вашему величеству

угодно считать ее достойной награды, я беру на себя смелость просить о следующем. Около четырехсот лет тому назад, как известно вашему величеству, во время распри между Джоном, королем Англии, и французским королем, было решено выпустить с каждой стороны по бойцу и уладить спор поединком, прибегнув к так называемому суду божию. Оба короля да еще король Испании прибыли на место поединка, чтобы судить об исходе спора; но, когда вышел французский боец, он оказался до того грозен и страшен, что никто из английских рыцарей не решился померяться с ним оружием. Таким образом, опор — очень важный — должен был решаться не в пользу английского монарха. Между тем в Тауэре как раз в это время был заключен лорд де Курси, самый могучий боец Англии, лишенный всех своих владений и почестей и давно уже томившийся в темнице. Обратились к нему; он согласился и прибыл на единоборство во всеоружии. Но как только француз завидел его огромную фигуру и услышал его славное имя, он пустился бежать, и дело французского короля было проиграно. Король Джон вернул де Курси все его титулы и владения со словами: «Проси у меня, чего хочешь; твое желание будет исполнено, хотя бы оно стоило мне половины моего королевства». Де Курси упал на колени, как я теперь, и ответил: «В таком случае, государь, предоставь мне и моим потомкам право оставаться в присутствии королей Англии с покрытой головой, покуда будет существовать королевский престол». Просьба его была уважена, как известно вашему величеству, и за эти четыреста лет род де Курси не прекращался, так что и до сего дня глава этого старинного рода невозбранно остается в присутствии короля в шляпе или шлеме, не испрашивая на то никакого особого позволения, — чего не смеет сделать никто другой[14]. И вот, основываясь на этом прецеденте, я прошу у короля одной только милости и привилегии, которая будет для меня больше чем достаточной наградой, а именно: чтобы мне и моим потомкам на все времена разрешено было сидеть в присутствии английского короля.

— Встань, сэра Майлс Гендон, я посвящаю тебя в рыцари, — с важностью произнес король, ударяя его по плечу его же шпагой, — встань и садись. Твоя просьба уважена. Пока существует Англия, пока существует королевская власть, это почетное право останется за тобой.

Его величество отошел в задумчивости, а Гендон опустился на стул у стола и проговорил про себя:

«То была прекрасная мысль, она выручила меня из беды, так как ноги мои ужасно устали. Не приди мне она в голову, я был бы вынужден стоять еще много

недель, пока мой бедный мальчик не вылечится от своего помешательства. — Спустя некоторое время он продолжал: — Итак, я стал рыцарем царства Снов и Теней! Весьма странное, диковинное звание для такого не склонного к мечтам человека, как я. Но не стану смеяться — боже меня сохрани! — ибо то, что не существует для меня, для него подлинная действительность. Да и для меня это в одном отношении истинно: это показывает, какая у него добрая и благородная душа... — Немного помолчав, он прибавил: — Но что, если он вздумает и при других величать меня громким титулом, который он мне сейчас даровал? Забавное будет несоответствие между моим рыцарским званием и моей жалкой одеждой! Ну, да все равно; пусть зовет, как хочет, если ему это нравится. Я буду доволен...»

13. Исчезновение принца

После еды обоими товарищами овладела тяжкая дремота.

Король сказал:

— Убери эти тряпки! (Разумея свою одежду.)

Гендон раздел его без всяких возражений и уложил в постель, потом обвел взглядом комнату, говоря себе с грустью: «Он опять завладел моей кроватью. Черт возьми! Что же я буду делать?»

От маленького короля не ускользнуло замешательство Гендона, и он сразу положил его раздумьям конец, пробормотав сонным голосом:

— Ты ляжешь у двери и будешь охранять ее.

Через минуту он уже забыл все свои тревоги в крепком сне.

«Бедняжка! Ему, право, следовало бы родиться королем! — с восхищением промолвил Гендон. — Он играет свою роль в совершенстве. — И он растянулся на полу у двери, очень довольный, говоря себе: — Все эти семь лет у меня было еще меньше удобств; жаловаться на теперешнее мое положение значило бы гневить всевышнего».

Он уснул на рассвете, а в полдень встал и, то там, то здесь приподнимая одеяло над своим крепко спавшим питомцем, снял с него мерку веревочкой.

Едва он закончил работу, король проснулся. Открыв глаза, он пожаловался на холод и спросил у своего друга, что тот делает.

— Я уже кончил, государь, — сказал Гендон. — У меня есть дело в городе, но я скоро приду. Усни опять: ты нуждаешься в отдыхе. Дай, я укурю тебя с головой, — так ты скорее согреешься.

Не успел он договорить, как король снова очутился в сонном царстве.

Майлс на цыпочках вышел из комнаты и через тридцать или сорок минут так же бесшумно вернулся — с костюмом для мальчика. Костюм был ношенный, из дешевой материи, кое-где потертый, но чистый и теплый — как раз для того времени года. Майлс сел и принялся рассматривать свою покупку, бормоча себе под нос: «Будь у меня кошель подлиннее, можно было бы достать костюм получше; но когда в кармане не густо, не следует быть слишком разборчивым...

Красотка жила в городишке у нас,

У нас в городишке жила...

Он, кажется, пошевелился; не надо горланить так громко, иначе я нарушу его сон, между тем ему предстоит путешествие, а он и так изнурен, бедняжка... Камзол ничего, недурен — кое-где ушить и будет впору. Штаны еще лучше, но, конечно, и тут два-три стежка не помешают... Башмаки отличные, прочные, крепкие; в них будет сухо и тепло. Они будут для него диковинкой, так как он, несомненно, привык бегать босиком и зимою и летом. Эх, если бы хлеб был такой же дешевый, как нитки! Вот за какой-нибудь фартинг я обеспечен нитками на целый год, да еще такую чудесную, большую иглу мне дали впридачу... Вот только нитку продеть в нее будет, черт возьми, нелегко».

И действительно, это было для него нелегким делом. Майлс поступил, как обыкновенно поступают мужчины и, по всей вероятности, будут поступать до скончания веков: держал неподвижно иголку и старался вдеть нитку в ушко, тогда как женщины поступают как раз наоборот. Нитка скользила мимо иголки то справа, то слева, то складывалась вдвое, но Гендон был терпелив: уже не раз доводилось ему проделывать подобные опыты во время солдатской службы. Наконец ему удалось вдеть нитку; он взял костюм, лежавший у него на коленях в ожидании починки, и принялся за работу.

«За постой заплачено, за завтрак, который нам подадут, тоже; денег еще хватит на то, чтобы купить пару осликов и нам вдвоем прокормиться два-три дня, пока доберемся до Гендон-холла, а там у нас всего будет вдоволь...

Любила она муженька...

Черт возьми! Я загнал иголку себе под ноготь!.. Положим, это не беда, не в первый раз случается... а все-таки неприятно... Эх, милый, мы с тобой отлично заживем, будь уверен! Всем твоим злоключениям наступит конец, да и рассудок вернется к тебе...

Любила она муженька своего,

Но ее любил...

Вот благородные, крупные стежки. — Он поднял кверху камзол и стал разглядывать его с восхищением. — В них есть размах и величие, рядом с ними мелкие, скаредные стежки портного кажутся плебейскими и жалкими...

Любила она муженька своего,

Но ее любил другой...

Ну, вот и готово! Неплохая работа, и главное — быстро закончена. Теперь я разбужу его, одену, подам ему умыться, накормлю его; а затем мы с ним поспешим на рынок, что возле харчевни Табард, в Саутворке».

— Извольте вставать, ваше величество! — громко сказал он. — Не отвечает!.. Эй, ваше величество!

«Кажется, мне все-таки придется оскорбить его священную особу прикосновением, если сон его глух к человеческой речи. Что это?..»

Он откинул одеяло... Мальчик исчез.

Гендон онемел от изумления, огляделся вокруг и тут только заметил, что лохмотья мальчика тоже исчезли. Он страшно расвирепел, стал бушевать, звать хозяина. В эту минуту вошел слуга с завтраком.

— Ты, бесовское отродье, объясни, что это значит, или прощайся со своею презренной жизнью! — загремел воин и так свирепо подскочил к слуге, что тот от

удивления и страха совсем растерялся и с минуту был не в состоянии выговорить ни слова. — Где мальчик?

Дрожа и запинаясь, слуга дал требуемое объяснение:

— Не успели вы уйти отсюда, ваша милость, как вдруг прибегает какой-то молодой человек и говорит, что ваша милость требует мальчика сейчас же к себе, на конец моста, на саутворкский берег. Я ввел его в комнату, он разбудил мальчугана и передал ему поручение. Тот чуть-чуть поворчал, зачем его беспокоили «так рано», но сейчас же напялил на себя свою рвань и пошел с молодым человеком, только промолвил в сердцах, что было бы учтивее, если бы ваша милость пришли за ним сами и не посылали чужого... а то выходит...

— А то выходит, что ты идиот! Идиот и болван, и надуть тебя ничего не стоит, повесить бы всех твоих родичей! Но, может быть, беды еще нет. Может быть, мальчишку не хотели обидеть. Я пойду за ним и приведу сюда. А ты тем временем накрой-ка на стол! Пстой! Одеяло на кровати положено так, будто под ним кто-то лежит, — это случайно?

— Не знаю, мой добрый господин! Я видел, как молодой человек возился у кровати, — тот самый, что приходил за мальчиком.

— Тысяча смертей! Это было сделано, чтобы обмануть меня! Да, это было сделано, чтобы выиграть время... Слушай! Тот молодец был один?

— Один, ваша милость!

— Ты уверен в этом?

— Уверен, ваша милость!

— Подумай, собери свои мысли, не торопись!

Подумав немного, слуга сказал:

— Приходил-то он один, с ним никого не было; но теперь я припоминаю, что когда они с мальчиком вышли на мост, туда, где толпа погуще, откуда-то выскочил разбойничьего вида мужчина, и как раз в ту минуту, как он подбежал к ним...

— Ну, что же тогда? Договаривай! — нетерпеливо загремел Гендон.

— Как раз в эту минуту толпа заслонила их, и больше уж я их не видал, так как меня кликнул хозяин, который обозлился за то, что стряпчему забыли подать заказанную баранью ногу, хотя я беру всех святых во свидетели, что винить в этом меня — все равно что судить неродившегося младенца за грехи его...

— Прочь с моих глаз, осел!.. Я просто с ума сойду от твоей болтовни. Стой! Куда же ты бежишь? Не может постоять и минуту на месте! Что же, они пошли в Саутворк?

— Точно так, ваша милость!.. Потому, как я вам докладывал, я в этой бараньей ноге непричинен, все равно как младе...

— Ты все еще здесь? И все еще мелешь вздор? Убирайся, покуда цел!

Слуга исчез. Гендон побежал вслед за ним, обогнал его и, прыгая по лестнице через две ступеньки зараз, в один миг очутился внизу.

«Это тот гнусный разбойник, который звал его своим сыном... Я потерял тебя, мой бедный, маленький безумный повелитель! Какая горькая мысль! Я так полюбил тебя! Нет! Клянусь всем святым, я тебя не потерял! Не потерял, потому что я обыщу всю Англию и все же найду тебя. Бедный ребенок! Там остался его завтрак... и мой... ну да мне теперь не до еды. Пусть он достанется крысам! Скорее, скорее, медлить нельзя!»

И, торопливо пробираясь сквозь шумную толпу на мосту, он несколько раз повторил, как будто эта мысль была особенно приятна ему:

«Он поворчал, но пошел ... да, пошел, так как думал, что его зовет Майлс Гендон... Милый мальчик! Никого другого он не послушался бы, уж я знаю!»

14. «Le Roi est mort — Vive Le Roi!»[15]

В это самое утро, на рассвете, Том Кенти проснулся от глубокого сна и открыл глаза в темноте. Несколько мгновений он лежал молча, пытаясь разобраться в путанице впечатлений и мыслей, чтобы хоть отчасти уразуметь их значение. И вдруг воскликнул веселым, но сдержанным голосом:

— Я понял! Понял! Слава богу, теперь я окончательно проснулся. Приди ко мне радость! Исчезни печаль! Эй, Нэн! Бэт! Сбросьте с себя солому, бегите скорее ко мне: я

сейчас расскажу вам самый дикий, безумный сон, какой только могут навеять на человека ночные духи! Эй, Нэн, где же ты? Бэт!

Чья-то темная фигура появилась у его постели, чей-то голос произнес:

— Что угодно тебе повелеть?

— Повелеть?.. О горе мне, я узнаю твой голос! Говори... кто я такой?

— Ты? Еще вчера ты был принцем Уэльским, ныне же ты мой августейший повелитель, Эдуард, король Англии.

Том зарылся головой в подушку и жалобно пролепетал:

— Увы, то был не сон! Иди отдыхай, добрый сэра... Оставь меня одного с моим горем.

Том опять уснул. И немного спустя ему приснился замечательный сон. Будто на дворе лето и будто он играет один на прекрасной лужайке, которая зовется Гудмэнс-филдс; как вдруг к нему подходит карлик, ростом не больше фута, горбатый, с длинной рыжей бородой, и говорит:

— Комай возле этого пня!

Том послушался и нашел целых двенадцать блестящих новых пенсов — сказочное богатство! Но лучшее было впереди, потому что карлик сказал:

— Я знаю тебя. Ты юноша добрый и достойный похвал; твое горе кончилось, пришел день награды. Комай на этом самом месте каждый седьмой день, и всякий раз ты будешь находить здесь сокровище — двенадцать новых блестящих пенсов. Только не говори никому, это тайна.

Затем карлик исчез, а Том со своей добычей помчался в Двор Отбросов, говоря себе: «Теперь я каждый вечер могу давать отцу по одному пенни; он будет думать, что я собрал их, прося подаяние, это развеселит его сердце, и он перестанет меня колотить. Одно пенни в неделю я буду давать доброму священнику, который учит меня, а остальные четыре — матери, Нэн и Бэт. Мы не будем больше голодать и ходить оборванцами. Прощайте страхи, тревоги, побои».

Во сне он в один миг очутился в своем убогом жилье, прибежал туда запыхавшись, но глаза у него так и прыгали от счастья; он бросил четыре монеты на колени матери, крича:

— Это тебе!.. Все тебе, все до одной! Тебе, и Нэн, и Бэт! Я добыл их честно, не украл и не выпросил.

Счастливая, удивленная мать прижала его к груди и воскликнула:

— Становится поздно... не угодно ли будет вашему величеству встать?

Ах, он ждал не такого ответа. Сон рассеялся. Том проснулся.

Он открыл глаза. У его постели стоял на коленях роскошно одетый первый лорд опочивальни. Радость, вызванная обманчивым сном, сразу исчезла: бедный мальчик увидел, что он все еще пленник и король. Комната была переполнена царедворцами в пурпуровых мантиях — траурный цвет — и знатными прислужниками монарха. Том сел на постели и из-за тяжелых шелковых занавесей смотрел на все это великолепное собрание.

Затем началась трудная церемония одевания, причем все время придворные один за другим становились на колени, приветствуя маленького короля и выражая ему сочувствие по поводу его тяжелой утраты. Прежде всего лорд обер-шталмейстер взял рубашку и передал ее первому лорду егермейстеру, тот передал ее второму лорду опочивальни, этот в свою очередь — главному лесничему Виндзорского леса, тот — третьему обер-камергеру, этот — королевскому канцлеру герцогства Ланкастерского, тот — хранителю королевской одежды, этот — герольдмейстеру Норройскому, тот — коменданту Тауэра, этот — лорду заведующему дворцовым хозяйством, тот — главному наследственному подвязывателю королевской салфетки, этот — первому лорду адмиралтейства, тот — архиепископу Кентерберийскому, и, наконец, архиепископ — первому лорду опочивальни, который надел рубашку — или, вернее, то, что от нее осталось, — на Тома. Бедный мальчик не знал что и подумать; это напомнило ему передачу из рук в руки ведер во время пожара.

Каждая принадлежность его туалета подвергалась тому же медленному и торжественному процессу. В конце концов эта церемония так наскучила Тому, так ужасно наскучила, что он чуть не вскрикнул от радости, увидав, что вдоль линии уже начали странствовать его длинные шелковые чулки: значит, церемония приближалась

к концу. Но радость его была преждевременна. Первый лорд опочивальни получил чулки и уже готовился облечь ими ноги Тома, как вдруг лицо его покрылось багровыми пятнами и он сунул чулки обратно в руки архиепископа Кентерберийского, пробормотав с изумлением:

— Смотрите, милорд!

Очевидно, с чулками что-то было неладно. Архиепископ побледнел, потом покраснел и передал чулки адмиралу, прошептав:

— Смотрите, милорд!

Адмирал передал чулки наследственному подвязывателю королевской салфетки, причем у него едва хватило силы пролепетать:

— Смотрите, милорд!

Таким образом чулки пространствовали обратно вдоль всей линии, через руки лорда заведующего дворцовым хозяйством, коменданта Тауэра, герольдмейстера Норройского, хранителя королевской одежды, канцлера герцогства Ланкастерского, третьего обер-камергера, главного лесничего Виндзорского леса, второго лорда опочивальни, первого лорда егермейстера, сопровождаемые все тем же удивленным и испуганным шепотом: «Смотрите! Смотрите!», пока, наконец, не попали в руки обер-шталмейстера. Тот, бледный как полотно, с минуту разглядывал причину общего испуга, затем хрипло прошептал:

— Господи помилуй! От подвязки отскочил жестяной наконечник! В Тауэр главного хранителя королевских чулок! — и в изнеможении склонился на плечо первого лорда егермейстера, чтобы восстановить свои силы, покуда не доставят такие чулки, у которых подвязки находятся в полной исправности.

Но все на свете рано или поздно кончается, и, таким образом, наступила пора, когда Том Кенти получил, наконец, возможность покинуть постель. Один придворный налил воды в таз, другой руководил умыванием, третий держал наготове полотенце. Том благополучно совершил обряд омовения, после чего к делу приступил королевский цирюльник. Из рук этого художника Том вышел грациозным и миловидным, как девочка. В плаще и штанах из пурпурного атласа и в шляпе с пурпурными перьями он торжественно проследовал в утреннюю столовую сквозь густую толпу придворных, которые расступались перед ним и преклоняли колени.

После завтрака его провели в тронный зал! Это была пышная церемония: его сопровождали первые сановники Англии, а также почетная стража из пятидесяти дворян с золочеными бердышами в руках. В тронном зале ему предстояло заняться государственными делами. Его «дядя», лорд Гертфорд, поместился у самого трона, чтобы помогать королю своими мудрыми советами.

Раньше всех предстали перед Томом именитые лорды, душеприказчики покойного короля. Они ходатайствовали, чтобы Том утвердил некоторые их распоряжения. Это была пустая формальность, — однако не совсем, так как в то время еще не было лорда-протектора. Архиепископ Кентерберийский доложил постановление совета о похоронах покойного монарха и в заключение прочел подписи душеприказчиков, а именно: архиепископ Кентерберийский; лорд-канцлер Англии; Вильям лорд Сент-Джон; Джон лорд Рассел; Эдуард граф Гертфорд; Джон виконт Лисли; Катберт, епископ Дургэмский...

Том не слушал, — его еще раньше смутил в этом документе один удивительный пункт. Он повернулся к лорду Гертфорду и шепотом спросил:

— На какой день назначены похороны?

— На шестнадцатое число будущего месяца, государь!

— Это просто удивительно! Разве он продержится так долго?

Бедный малый! Королевские обычаи были для него еще внове. Он привык к тому, что покойников на Дворе Отбросов спроваживали в могилу гораздо быстрее.

Двумя-тремя словами лорд Гертфорд успокоил его.

Затем статс-секретарь доложил о постановлении государственного совета, назначившего на другой день в одиннадцать часов прием иностранных послов. Требовалось согласие короля.

Том вопросительно посмотрел на лорда Гертфорда. Тот шепнул:

— Ваше величество да соблаговолит изъявить согласие. Они придут, чтобы выразить вам соболезнование их августейших повелителей по поводу тяжелой утраты, постигшей ваше величество и всю Англию.

Том поступил, как ему было сказано. Другой статс-секретарь начал читать акт о расходах на штат покойного короля, достигших за последнее полугодие двадцати восьми тысяч фунтов стерлингов. Сумма была так велика, что у Тома Кенти дух захватило. Еще больше изумился он, узнав, что из этих денег двадцать тысяч еще не уплачено. И окончательно разинул рот, когда оказалось, что королевская сокровищница почти что пуста, а его тысяча слуг испытывают большие лишения, ибо давно уже не получают следуемого им жалованья.

Том с горячим убеждением сказал:

— Ясно, что этак мы разоримся к чертям. Нам следует снять домик поменьше и распустить большинство наших слуг, которые все равно ни на что не годны, только болтаются под ногами и покрывают нашу душу позором, оказывая нам такие услуги, какие нужны разве что кукле, не имеющей ни рассудка, ни рук, чтобы самой управиться со своими делами. Я знаю один домишко, как раз насупротив рыбного рынка у Билингсгэйта... Он...

«Дядя» крепко сжал Тому руку, чтобы остановить его безумную речь; тот вспыхнул и остановился на полуслове; но никто не выразил удивления, как будто никто и не слышал его слов.

Какой-то секретарь доложил, что покойный король в своей духовной завещал пожаловать графу Гертфорду герцогский титул, возвести его брата, сэра Томаса Сеймура, в звание пэра, а сына Гертфорда сделать графом, равно как и возвысить в звании других знатных слуг короны. Совет решил назначить заседание на шестнадцатое февраля для утверждения и исполнения воли покойного. А так как почивший король никому из поименованных лиц не пожаловал письменно поместий, необходимых, чтобы поддержать столь высокое звание, то совет, будучи осведомлен о личных желаниях его величества по этому поводу, счел за благо, если на то будет соизволение ныне царствующего монарха, назначить Сеймуру «земель на пятьсот фунтов стерлингов», а сыну Гертфорда «на восемьсот фунтов стерлингов», прибавив к этому первый же участок земли «на триста фунтов стерлингов», «какой освободится за смертью какого-нибудь епископа».

Том чуть было не брякнул, что лучше бы сначала уплатить долги покойного короля, а потом уж расходовать такие огромные деньги; но предусмотрительный Гертфорд, во-время тронув его за плечо, спас его от подобной бестактности, и он изъявил свое королевское согласие, хотя в душе был очень недоволен.

С минуту он сидел и раздумывал, как легко и просто он теперь совершает такие блистательные чудеса, и вдруг у него мелькнула мысль: почему бы не сделать свою мать герцогиней Двора Отбросов и не пожаловать ей поместье? Но в то же мгновение он с горечью сообразил, что ведь он король только по имени, на самом же деле он весь во власти этих важных старцев и величавых вельмож. Для них его мать — создание большого воображения; они выслушают его недоверчиво и пошлют за доктором — только и всего.

Скучная работа продолжалась. Читались всякие многословные, утомительно-нудные петиции, указы, дипломы и другие бумаги, относящиеся к государственным делам; наконец Том сокрушенно вздохнул и пробормотал про себя:

— Чем прогневал я господа бога, что он отнял у меня солнечный свет, свежий воздух, поля и луга и запер меня в этой темнице, сделал меня королем и причинил мне столько огорчений?

Тут бедная, утомленная его голова стала клониться в дремоте и, наконец, упала на плечо; дела королевства приостановились за отсутствием августейшего двигателя, имеющего власть превращать чужие желания в законы. Тишина окружила дремавшего мальчика, и государственные мужи прервали обсуждение дел.

Перед обедом Том, с разрешения своих тюремщиков Гертфорда и Сент-Джона, провел приятный часок в обществе леди Елизаветы и маленькой леди Джэн Грей, хотя принцессы были весьма опечалены тяжелой утратой, постигшей королевскую семью. Под конец ему нанесла визит «старшая сестра», впоследствии получившая в истории имя «Марии Кровавой»[16]. Она заморозила Тома своей высокопарной беседой, которая в его глазах имела только одно достоинство — краткость. На несколько минут его оставили одного, затем к нему был допущен худенький мальчик лет двенадцати, платье которого, за исключением белоснежных кружев на вороте и рукавах, было сверху донизу черное — камзол, чулки и все прочее. В его одежде не было никаких признаков траура, только пурпурный бант на плече. Он приближался к Тому нерешительным шагом, склонив обнаженную голову, и, когда подошел, опустился на колени. Том с минуту спокойно и вдумчиво смотрел на него и, наконец, сказал:

— Встань, мальчик. Кто ты такой? Что тебе надобно?

Мальчик встал на ноги; он стоял в изящной, непринужденной позе, но на лице у него были тревога и грусть.

— Ты, конечно, помнишь меня, милорд? Я твой паж, мальчик для порки.

— Мальчик для порки?

— Так точно, ваше величество. Я Гэмфри... Гэмфри Марло.

Том подумал, что его опекунам не мешало бы рассказать ему об этом паже. Положение было щекотливое. Что ему делать? Притвориться, будто он узнает мальчугана, а потом каждым словом своим обнаруживать, что он никогда и не слышал о нем? Нет, это не годится. Спасительная мысль пришла ему в голову: ведь такие случаи будут, пожалуй, нередки. С настоящего дня лордам Гертфорду и Сент-Джону частенько придется отлучаться от него по делам, поскольку они — члены совета душеприказчиков; не худо бы самому придумать способ, как выпутываться из затруднений подобного рода. «Дельная мысль! Попробую испытать ее на мальчишке... и посмотрю, что из этого выйдет».

Минуты две Том в замешательстве тер себе лоб и, наконец, сказал:

— Теперь, мне кажется, я немного припоминаю тебя... но мой разум отуманен недугом...

— Увы, мой бедный господин! — с чувством искреннего сожаления воскликнул паж для порки, а про себя подумал: «Значит, правду о нем говорили... не в своем уме бедняга... Но, черт возьми, какой же я забывчивый! Ведь ведено не подавать и виду, что замечаешь, будто у него голова не в порядке».

— Странно, как память изменяет мне в последние дни, — сказал Том. — Но ты не обращай внимания... я быстро поправлюсь; часто мне достаточно бывает одного небольшого намека, чтобы я припомнил имена и события, ускользнувшие из моей памяти. («А порой и такие, о которых я раньше никогда не слышал, в чем сейчас убедится этот малый».) Говори же, что тебе надо!

— Дело мелкое, государь, но все же я дерзаю напомнить о нем, с дозволения вашей милости. Два дня тому назад, когда ваше величество изволили сделать три ошибки в греческом переводе за утренним уроком... вы помните это?..

— Д-д-да, кажется помню... («Это даже не совсем ложь: если бы я стал учиться по-гречески, я, наверное, сделал бы не три ошибки, а сорок».) Да, теперь помню... продолжай!

— Учитель, разгневавшись на вас за такую, как он выразился, неряшливую и скудоумную работу, пригрозил больно высечь меня за нее... и...

— Высечь тебя? — вскричал Том. Он был так удивлен, что даже позабыл свою роль. — С какой же стати ему сечь тебя за мои ошибки?

— Ах, ваша милость опять забываете! Он всегда сечет меня розгами, когда вы плохо приготовите урок.

— Правда, правда... Я и забыл. Ты помогаешь мне готовить уроки, и когда потом я делаю ошибки, он считает, что ты худо подготовил меня... и...

— О, что ты говоришь, мой государь? Я, ничтожнейший из слуг твоих, посмел бы учить тебя?!

— Так в чем же твоя вина? Что это за странная загадка? Или я и вправду рехнулся, или это ты сумасшедший? Говори же... объясни скорее.

— Но, ваше величество, ничего не может быть проще. Никто не смеет наносить побои священной особе принца Уэльского; поэтому, когда принц провинится, вместо него бьют меня. Это правильно, так оно и быть должно, потому что такова моя служба и я ею кормлюсь.[17]

Том с изумлением смотрел на этого безмятежно-спокойного мальчика и говорил про себя:

«Чудное дело! Вот так ремесло! Удивляюсь, как это не наняли мальчика, которого причесывали бы и одевали вместо меня. Дай-то бог, чтоб наняли!.. Тогда я попрошу, чтобы секли меня самого, и буду счастлив такой заменой».

Вслух он спросил:

— И что же, мой бедный друг, тебя высекли, выполняя угрозу учителя?

— Нет, ваше величество, в том-то и горе, что наказание было назначено на сегодня, но, может быть, его отменят совсем, ввиду траура, хотя наверняка я не знаю; поэтому-то я и осмелился придти сюда и напомнить вашему величеству о вашем милостивом обещании вступить за меня...

— Перед учителем? Чтобы тебя не секли?

— Ах, это вы помните?

— Ты видишь, моя память исправляется. Успокойся, твоей спины уж не коснется розга... Я позабочусь об этом.

— О, благодарю вас, мой добрый король! — воскликнул мальчик, снова преклоняя колена. — Может быть, с моей стороны это слишком большая смелость, но все же...

Видя, что Гэмфри колеблется, Том поощрил его, объявив, что сегодня он «хочет быть милостивым».

— В таком случае я выскажу все, что у меня на сердце. Так как вы уже не принц Уэльский, а король, вы можете приказать, что вам вздумается, и никто не посмеет ответить вам «нет»; и, конечно, вы не потерпите, чтобы вам и впредь докучали уроками, вы швырнете постылые книги в огонь и займетесь чем-нибудь менее скучным. Тогда я погиб, а со мною и мои осиротелые сестры.

— Погиб? Почему?

— Моя спина — хлеб мой, о милостивый мой повелитель! Если она не получит ударов, я умру с голода. А если вы бросите учение, моя должность будет упразднена, потому что вам уже не потребуется мальчик для порки. Смилуйтесь, не прогоняйте меня!

Том был тронут этим искренним горем. С королевским великодушием он сказал:

— Не огорчайся, милый! Я закреплю твою должность за тобою и за всеми твоими потомками.

Он слегка ударил мальчика по плечу шпагой плашмя и воскликнул:

— Встань, Гэмфри Марло! Отныне твоя должность становится наследственной во веки веков. Отныне и ты, и твои потомки будут великими пажами для порки при всех принцах английской державы. Не терзай себя скорбью. Я опять примусь за мои книги и буду учиться так худо, что твое жалованье, по всей справедливости, придется утроить, настолько увеличится твой труд.

— Спасибо, благородный повелитель! — воскликнул Гэмфри в порыве горячей признательности. — Эта царственная щедрость превосходит мои самые смелые мечты.

Теперь я буду счастлив до гроба, и все мои потомки, все будущие Марло, будут счастливы.

Том сообразил, что мальчишка может быть ему очень полезен. Он заставил Гэмфри разговаривать, что оказалось нетрудно. Гэмфри был в восторге, что может способствовать «исцелению» Тома, ибо всякий раз, как он воскрешал в расстроенном уме короля те или иные происшествия, случившиеся в классной комнате или в других королевских покоях, юный король и сам чрезвычайно отчетливо «припоминал» все подробности этих событий. К концу беседы, за какой-нибудь час, Том приобрел множество полезнейших сведений о разных эпизодах и людях, связанных с придворной жизнью; поэтому он решил черпать из этого источника ежедневно и распорядился всегда беспрепятственно допускать к нему Гэмфри, если только его величество владыка Британии не будет беседовать в это время с кем-нибудь другим.

Не успел Гэмфри уйти, как явился Гертфорд и принес Тому новые горести. Он сообщил, что лорды государственного совета, опасаясь, как бы преувеличенные рассказы о расстроенном здоровье короля не распространились в народе, сочли за благо, чтобы его величество через день-другой соизволил обедать публично; здоровый цвет его лица, его бодрая поступь в сочетании с его спокойными жестами, непринужденным и милостивым обращением лучше всего положат конец кривотолкам — в случае если недобрые слухи уже вышли за пределы дворца.

Граф принялся деликатнейшим образом наставлять Тома, как подобает ему держаться во время этой пышной процедуры.

Под видом довольно прозрачных «напоминаний» о том, что его величеству было будто бы отлично известно, он сообщил ему весьма ценные сведения. К великому удовольствию графа, оказалось, что Тому нужна в этом отношении весьма небольшая помощь, так как он успел выведать об этих публичных обедах у Гэмфри Марло: быстроекрылая молва о них уже носилась по дворцу. Том, конечно, предпочел умолчать о своем разговоре с Гэмфри.

Видя, что память короля так сильно окрепла, граф решил подвергнуть ее, будто случайно, еще нескольким испытаниям, чтобы судить, насколько подвинулось выздоровление. Результаты получились отрадные — не всегда, а в отдельных случаях: там, где оставались следы от разговоров с Гэмфри. Милорд остался чрезвычайно доволен и сказал голосом, полным надежды:

— Теперь я убежден, что, если ваше величество напряжете свою память еще немного, вы разрешите нам тайну большой государственной печати. Нынче эта печать нам ненадобна, так как ее служба окончилась с жизнью нашего почившего монарха, но еще вчера ее утрата имела для нас важное значение... Угодно вашему величеству сделать усилие?

Том растерялся: большая печать — это было нечто совершенно ему неизвестное. После минутного колебания он взглянул невинными глазами на Гертфорда и простодушно спросил:

— А какова она с виду?

Граф чуть заметно вздрогнул и пробормотал про себя:

— Увы, ум его опять помутился. Неразумно было заставлять его напрягать свою память...

Он ловко перевел разговор на другое, чтобы Том и думать забыл о злополучной печати. Достигнуть этого ему было очень нетрудно.

15. Том — король

На другой день явились иноземные послы, каждый в сопровождении блистательной свиты. Том принимал их, восседая на троне с величавой и даже грозной торжественностью. На первых порах пышность этой сцены пленяла его взор и воспламеняла фантазию, но прием был долог и скучен, большинство речей тоже были долги и скучны, так что удовольствие под конец превратилось в утомительную и тоскливую повинность. Время от времени Том произносил слова, подсказанные ему Гертфордом, и добросовестно старался выполнить свой долг, — но это было для него еще внове, он конфузился и достиг очень малых успехов. Вид у него был королевский, но чувствовать себя королем он не мог; поэтому он был сердечно рад, когда церемония кончилась.

Большая часть дня пропала даром, как выразился он мысленно, — в пустых занятиях, к которым вынуждала его королевская должность. Даже два часа, уделенные для царственных забав и развлечения, были ему скорее в тягость, так как он был скован по рукам и ногам чопорным и строгим этикетом. Зато потом он отдохнул душою

наедине со своим мальчиком для порки, беседа с этим юнцом доставила Тому и развлечение и полезные сведения.

Третий день царствования Тома Кенти прошел так же, как и другие дни, с той разницей, что теперь тучи у него над головой немного рассеялись, — он чувствовал себя не так неловко, как в первое время, он начинал привыкать к своему положению и к новой среде; цепи еще тяготили его, но он ощущал их тяжесть значительно реже и с каждым часом обнаруживал, что постоянная близость знатнейших лордов и их преклонение пред ним все меньше конфузят и удручают его.

Одно только мешало ему спокойно ждать приближения следующего, четвертого дня — страх за свой первый публичный обед, который был назначен на этот день. В программе четвертого дня были и другие, более серьезные вещи: Тому предстояло впервые председательствовать в государственном совете и высказывать свои желания и мысли по поводу той политики, какой должна придерживаться Англия в отношении разных государств, ближних и дальних, разбросанных по всему земному шару; в этот же день предстояло официальное назначение Гертфорда на высокий пост лорда-протектора, и еще много важного должно было совершиться в тот день. Но для Тома все это было ничто в сравнении с пыткой, ожидавшей его на публичном обеде, когда он будет одиноко сидеть за столом, под множеством устремленных на него любопытных взглядов, в присутствии множества ртов, шепотом высказывающих разные замечания о его малейшем движении и о его промахах, если ему не повезет и он сделает какие-нибудь промахи.

Но ничто не могло задержать наступления четвертого дня, и вот этот день наступил. Он застал бедного Тома угнетенным, рассеянным; дурное состояние духа держалось очень долго: Том был не в силах стряхнуть с себя эту тоску. Обычные утренние церемонии показались ему особенно тягостными. Он снова почувствовал, как удручает его вся эта жизнь в плену.

Незадолго до полудня его привели в обширный аудиенц-зал, где он, в беседе с графом Гертфордом, должен был ждать, пока пробьет условленный час официального приема первейших сановников и царедворцев.

Немного погодя Том подошел к окну и стал с интересом всматриваться в кипучую жизнь большой дороги, проходившей мимо дворцовых ворот. О, как бы ему хотелось принять участие в ее бойкой и привольной суете! Вдруг он увидел

беспорядочную толпу мужчин, женщин и детей низшего, беднейшего сословия, которые со свистом и гиканьем бежали по дороге.

— Хотел бы я знать, что там происходит! — воскликнул он с тем любопытством, которое подобные события всегда пробуждают в мальчишеских душах.

— Вы — король... — низко кланяясь, сказал ему граф. — Ваше величество разрешит мне выполнить ваше желание?

— Да, пожалуйста! Еще бы! С удовольствием! — взволнованно крикнул Том и про себя добавил, чрезвычайно обрадованный: «По правде говоря, быть королем не так уж и плохо: тяготы этого звания нередко возмещаются разными выгодами».

Граф кликнул пажа и послал его к начальнику стражи:

— Пусть задержат толпу и узнают, куда она бежит и зачем. По приказу короля...

Несколько минут спустя многочисленный отряд королевских гвардейцев, сверкая стальными доспехами, вышел гуськом из ворот и, выстроившись на дороге, преградил путь толпе. Посланный вернулся и доложил, что толпа следует за мужчиной, женщиной и девочкой, которых ведут на казнь за преступления, совершенные ими против спокойствия и величия английской державы.

Смерть, люта́я смерть ожидает троих несчастных! В сердце Тома словно что-то оборвалось. Жалость овладела им и вытеснила все прочие чувства; он не-подумал о нарушениях закона, об ущербе и муках, которые эти преступники причинили своим жертвам, — он не мог думать ни о чем, кроме виселицы и страшной судьбы, ожидающей осужденных на казнь. От волнения он даже забыл на минуту, что он не настоящий король, а поддельный, и, прежде чем он успел подумать, у него вырвалось из уст приказание:

— Привести их сюда!

Тотчас же он покраснел до ушей и уже хотел было попросить извинения и отменить свой приказ, но, заметив, что ни граф, ни дежурный паж не удивились его словам, промолчал. Паж, как ни в чем не бывало, отвесил низкий поклон и, пятясь, вышел из залы, чтобы исполнить королевскую волю. Том ощутил прилив гордости и еще раз сознался себе, что звание короля все же имеет свои преимущества.

«Право, — думал он, — все это очень похоже на то, о чем я недавно мечтал, читая старые книги отца Эндрю и воображая себя королем, который диктует законы и приказывает всем окружающим: сделайте то, сделайте другое. Там — в моих мечтах — никто не смел ослушаться меня».

Двери распахнулись; один за другим провозглашались громкие титулы, и входили вельможи, носившие их. Половина зала наполнилась знатью в великолепных одеждах. Но Том почти не сознавал присутствия этих людей, так сильно был он захвачен другим, более интересным делом. Он рассеянно опустил на трон и впился глазами в дверь, не скрывая своего нетерпения. Увидев это, собравшиеся лорды не решились тревожить его и стали тихонько шептаться о разных государственных делах вперемешку с придворными сплетнями.

Немного погодя послышалась мерная поступь солдат, и в зал вошли преступники в сопровождении помощника шерифа и взвода королевской гвардии. Помощник шерифа преклонил перед Томом колени и тотчас же отошел в сторону; трое осужденных тоже упали на колени, да так и остались; гвардейцы поместились за тронном. Том с любопытством вглядывался в преступников. Какая-то подробность в одежде или в наружности мужчины пробудила в нем смутное воспоминание.

«Этого человека я как будто уже где-то видел, — подумал он, — но где и когда, не припомню».

Как раз в эту минуту преступник бросил быстрый взгляд на Тома и столь же быстро поник головой, ослепленный грозным блеском королевского величия; но для Тома было достаточно этой секунды, чтобы разглядеть его лицо.

«Теперь я знаю, — сказал он себе, — это тот самый незнакомец, который вытаскил Джайлса Уитта из Темзы и спас ему жизнь в первый день нового года; день был ненастный и ветреный... Благородный, самоотверженный подвиг! Жалко, что этот человек стал преступником и замешан в какое-то темное дело... Я отлично помню, в какой день и даже в котором часу это было, потому что часом позже, когда на башне пробило одиннадцать, бабка Кенти задала мне такую отличную, восхитительно свирепую трепку, в сравнении с которой все предыдущие и последующие могут показаться нежнейшей лаской».

Том приказал увести на короткое время женщину с девочкой и обратился к помощнику шерифа:

— Добрый сэръ, в чем вина этого человека?

Шериф преклонил колени.

— Смею доложить вашему величеству, он лишил жизни одного из ваших подданных при помощи яда.

Жалость Тома к преступнику, а также восхищение героической смелостью, которую тот проявил при спасении тонувшего мальчика, потерпели жестокий удар.

— Его вина доказана? — спросил он.

— Вполне доказана, ваше величество!

Том вздохнул и сказал:

— Уведите его, он заслужил смерть... Это жаль, потому что еще недавно он был храбрецом... то есть... то есть... я хочу сказать, что у него такой вид...

Осужденный внезапно почувствовал прилив энергии и, в отчаянии ломая руки, стал умолять «короля» прерывистым, испуганным голосом:

— О великий король, если тебе жалко погибшего, сжапись и надо мной! Я невиновен, улики против меня очень слабы... Но я говорю не об этом; суд надо мною уже совершен, и отменить приговор невозможно. Я умоляю только об одной милости, ибо та кара, на которую я осужден, выше моих сил. Пощады, пощады, о великий король! Окажи мне королевскую милость, внемли моей мольбе: дай приказ, чтобы меня повесили!

Том был поражен. Он не ожидал такой просьбы.

— Какая странная милость! Разве тебя ведут не на виселицу?

— О нет, мой добрый государь. Я осужден быть заживо сваренным в кипятке.

При этих неожиданных и ужасных словах Том чуть не спрыгнул с трона. Опомнившись от изумления, он воскликнул:

— Будь по-твоему, бедняга! Если бы даже ты отравил сто человек, ты не будешь предан такой мучительной казни!

Осужденный припал головой к полу, изливаясь в страстных выражениях признательности, и закончил такими словами:

— Если когда-нибудь, боже избави, тебя постигнет беда, — пусть тебе зачтется твоя милость ко мне.

Том повернулся к графу Гертфорду:

— Милорд, можно ли поверить, чтобы этого человека осудили на такую жестокую казнь?

— Таков закон, ваше величество, для отравителей. В Германии фальшивомонетчиков варят живыми в кипящем масле, и не вдруг, а постепенно спускают их на веревке в котел — сначала ступни, потом ноги, потом...

— О, пожалуйста, милорд, перестань, замолчи! Я не могу этого вынести! — воскликнул Том, закрывая лицо руками, чтобы отогнать ужасную картину. — Заклинаю тебя, милорд, отдай приказ, чтобы этот закон отменили!.. О, пусть никогда, никогда не подвергают несчастных таким омерзительным пыткам.

Лицо графа выразило живейшее удовольствие; он был человек сострадательный и склонный к великодушным порывам, что не так часто встречалось среди знатных господ в то жестокое время. Он сказал:

— Благородные слова вашего величества — смертный приговор этому закону. Они будут занесены на скрижали истории к чести вашего королевского дома.

Помощник шерифа уже намеревался увести осужденного, но Том знаком остановил его.

— Добрый сэръ, — сказал он. — Я хотел бы вникнуть в это дело. Человек говорит, что улики против него очень слабы. Скажи мне, что ты знаешь о нем?

— Осмелюсь доложить вашему королевскому величеству, на суде выяснилось, что человек этот входил в некий дом в селении Ислингтон, где лежал некий больной; трое свидетелей показывают, что это было ровно в десять часов утра, а двое — что это было несколькими минутами позже. Больной был один и спал; этот человек вскоре вышел и пошел своей дорогой, а час спустя больной умер в страшных муках, сопровождаемых рвотой и судорогами.

— Что же, видел кто-нибудь, как этот человек давал ему яд? Яд найден?

— Нет, ваше величество!

— Откуда же известно, что больной был отравлен?

— Осмелюсь доложить вашему величеству, доктора говорят, что такие признаки бывают только при отравлении.

Веская улика в то наивное время. Том сразу понял всю ее неотразимую силу и сказал:

— Доктора знают свое ремесло. Должно быть, они были правы. Плохо твое дело, бедняга!

— Это еще не все, ваше величество! Есть и другие, более тяжкие улики. Многие показали на суде, что колдунья, после того исчезнувшая из деревни неизвестно куда, предсказывала по секрету всем и каждому, что больному суждено быть отравленным и, больше того, что отраву даст ему незнакомый темноволосый прохожий в простом поношенном платье. Осужденный вполне подходит под эти приметы. Прошу ваше величество отнестись с должным вниманием к этой тяжелой улике, ввиду того, что все это было заранее предсказано.

Довод подавляющей силы в те суеверные дни. Том почувствовал, что такая улика решает все дело, что вина бедняка доказана, если придавать какую-нибудь цену таким доказательствам. Но все же ему захотелось предоставить несчастному еще одну возможность обелить себя, и он обратился к нему со словами:

— Если можешь сказать что-нибудь в свое оправдание, говори!

— Ничто меня не спасет, государь! Я невиновен, но доказать свою правоту не могу. У меня нет друзей, иначе я мог бы привести их в свидетели, что я даже не был тогда в Ислингтоне, ибо находился за целую милю от этого места, на Уоппинг-Олд-Стерс[18]. Больше того, государь, — я мог бы доказать, что в то самое время, когда я, как они говорят, загубил человека, я спас человека. Утопающий мальчик...

— погоди! Шериф, назови мне тот день, когда было совершено преступление.

— В десять часов утра или несколькими минутами позже в первый день нового года, мой августейший...

— Отпустить его на свободу, такова моя королевская воля!

Выговорив это, Том опять отчаянно покраснел и поспешил заглядывать, как мог, свой некоролевский порыв:

— Меня возмущает, — сказал он, — что человека могут вздернуть на виселицу из-за таких пустых и легковесных улик!

Шепот восхищения пронесся по залу. Восхищались не приговором, так как мало кто из присутствующих решился бы одобрить помилование уличенного отравителя, — восхищались умом и решимостью, проявленными в этом случае Томом. Слышались такие замечания, высказываемые вполголоса:

— Нет, он не сумасшедший, наш король! Он в полном рассудке.

— Как разумно он ставил вопросы... такое властное, крутое решение напоминает нам прежнего принца!

— Слава богу, его болезнь прошла! Это не слабый пленец, это король. Он держал себя совсем как его покойный родитель.

Так как воздух был насыщен такими хвалебными возгласами, они не могли не дойти до ушей Тома; у него появилось ощущение непринужденности, и по всему его телу разлились какие-то приятные чувства.

Но вскоре молодое любопытство заставило его позабыть эти чувства: Тому захотелось узнать, какое кровавое преступление могли совершить женщина и маленькая девочка, и по его приказу обе они, испуганные и плачущие, предстали перед ним.

— А эти что сделали? — спросил он у шерифа.

— Разрешите доложить, ваше величество, что они уличены в гнусном преступлении, и виновность их ясно доказана. Судьи, согласно закону, приговорили их к повешению. Обе они продали душу дьяволу — вот в чем их преступление.

Том содрогнулся. Его приучили гнушаться людьми, которые общаются с дьяволом, но его отвращение было побеждено любопытством, и он спросил:

— Где же это было... и когда?

— В полночь, в декабре, в развалинах церкви, ваше величество.

Том опять содрогнулся.

— Кто был при этом?

— Только эти двое, ваше величество, и тот, другой.

— Они сознались в своей вине?

— Никак нет, государь, отрицают.

— В таком случае как же их вина стала известна?

— Некие свидетели, ваше величество, видели, как они входили туда. Это возбудило подозрение, которое потом подтвердилось. В частности, доказано, что при помощи власти, полученной ими от дьявола, они вызвали бурю, опустошившую всю окрестность. Около сорока свидетелей показали, что буря действительно была. Таких свидетелей нашлась бы и тысяча. Они все хорошо помнят бурю, так как все пострадали от нее.

— Конечно, это дело серьезное! — Том некоторое время молчал, размышляя о мрачных злодеяниях колдуний, и, наконец, спросил:

— А женщина тоже пострадала от бури?

Несколько старцев, присутствовавших в зале, закивали головами в знак одобрения мудрому вопросу. Но шериф, не подозревая, к чему клонится дело, простодушно ответил:

— Точно так, ваше величество. Она пострадала и, как все говорят, поделом... Ее жилище снесло ураганом, и она с ребенком осталась без крова.

— Дорого же она заплатила за то, чтобы сделать зло самой себе. Даже если бы она заплатила всего только фартинг, и то можно было бы сказать, что ее обманули; а ведь она загубила свою душу и душу ребенка. Следовательно, она сумасшедшая; а раз она сумасшедшая, она не знает, что делает, и, следовательно, ни в чем не виновна.

Старцы опять закивали головами, восхищаясь мудростью Тома. Один придворный пробормотал:

— Если слухи справедливы и король — сумасшедший, не мешало бы этим сумасшествием заразиться иному здоровому.

— Сколько лет ребенку? — спросил Том.

— Девять лет, смею доложить вашему величеству.

— Может ли ребенок, по английским законам, вступать в сделки и продавать себя, милорд? — обратился Том с вопросом к одному ученому судье.

— Закон не позволяет малолетним вступать в какие-либо сделки или принимать в них участие, милосердный король, ввиду того, что их незрелый ум не в состоянии состязаться с более зрелым умом и злоумышленными кознями старших. Дьявол может купить душу ребенка, если пожелает и если дитя согласится, — дьявол, но никак не англичанин... в последнем случае договор недействителен.

— Ну, это дикая выдумка, чуждая христианской религии! Как же может английский закон предоставлять дьяволу такие права, каких не имеет ни один англичанин?! — воскликнул Том в благородном негодовании.

Этот новый взгляд на вещи вызвал у многих улыбку, и многие потом повторяли эти слова в придворных кругах в доказательство того, как самобытно мышление Тома и как проясняется его помутившийся разум.

Старшая преступница перестала рыдать и жадно, с возрастающей надеждой впивала в себя каждое слово. Том это заметил, и ему стало еще более жаль эту одинокую, беззащитную женщину, стоявшую на краю гибели. Он спросил:

— Что же они делали, чтобы вызвать бурю?

— Они стаскивали с себя чулки, государь!

Это изумило Тома и разожгло его любопытство до лихорадочной дрожи.

— Удивительно! — воскликнул он пылко. — Неужели это всегда производит такое страшное действие?

— Всегда, государь... по крайней мере если женщина того пожелает и произнесет при этом нужное заклинание — мысленно или вслух.

Том обратился к женщине со страстной настойчивостью:

— Покажи свою власть! Я хочу видеть бурю!

Щеки суеверных придворных внезапно побелели от страха, и у большинства явилось желание, хотя и не высказанное, уйти поскорее из зала, но Том ничего не заметал, он был всецело поглощен предстоящей катастрофой. Видя, что на лице у женщины написано удивление, он с горячим увлечением прибавил:

— Не бойся, за это ты не будешь отвечать. Больше того: тебя сейчас же отпустят на волю, я никто тебя пальцем не тронет. Покажи твою власть.

— О милостивый король, у меня нет такой власти... меня оговорили.

— Тебя удерживает страх. Успокойся. Тебе ничего не будет. Вызови бурю, хоть самую маленькую, — я ведь не требую большой и разрушительной, я даже предпочту безобидную, — вызови бурю, и жизнь твоя спасена: ты уйдешь отсюда свободная, вместе со своим ребенком, помилованная королем, и никто во всей Англии не посмеет осудить или обидеть тебя.

Женщина простерлась на полу и со слезами твердила, что у нее нет власти совершить это чудо, иначе она, конечно, с радостью спасла бы жизнь своего ребенка и была бы счастлива потерять свою собственную, исполнив приказ короля, сулящий ей такую великую милость.

Том настаивал. Женщина повторяла свои уверения. Наконец Том произнес:

— Мне сдается, женщина сказала правду. Если бы моя мать была на ее месте и получила бы от дьявола такую волшебную силу, она не задумалась бы ни на минуту вызвать бурю и превратить всю страну в развалины, лишь бы спасти этой ценой мою жизнь! Надо думать, что все матери созданы так же. Ты свободна, добрая женщина, — и ты, и твое дитя, — ибо я считаю тебя невиновной. Теперь, когда тебе уже нечего бояться и ты прощена, сними с себя, пожалуйста, чулки, и если ты для меня вызовешь бурю, я дам тебе в награду много денег.

Спасенная женщина громко изъявила свою благодарность и поспешила исполнить приказ короля. Том следил за ее действиями со страстным вниманием, которое слегка омрачилось тревогой: придворные стали явно выражать беспокойство и страх. Женщина сняла чулки и с себя и с ребенка и, очевидно, была готова сделать все от нее зависящее, чтобы землетрясением отблагодарить короля за его великодушную

милость, но из этого ровно ничего не вышло. Том был разочарован. Он вздохнул и сказал:

— Ну, добрая душа, перестань утруждать себя зря: видно, бесовская сила тебя покинула; если же когда-нибудь она вернется к тебе, пожалуйста не забудь обо мне — устрой для меня грозу.

16. Парадный обед

Час обеда приближался, но — странное дело! — эта мысль почти не тревожила Тома и уже совсем не пугала его. Утренние события внушили ему веру в себя; бедный, испачканный сажей котенок за эти четыре дня вполне освоился с незнакомым ему чердаком. Взрослому и в месяц не сделать бы подобных успехов. Никогда еще не проявлялось так явственно умение детей легко приспособляться к обстоятельствам.

Поспешим же, — благо нам дано это право, — в большой зал для парадных банкетов и посмотрим, что там происходит в то время, как Том готовится к великому торжеству. Это обширный покой с золочеными колоннами и пилястрами, с расписными стенами, с расписным потолком. У дверей стоят рослые часовые, неподвижные, как статуи, в богатых и живописных костюмах; в руках у них алебарды. На высоких хорах, идущих вокруг всего зала, помещается оркестр; хоры битком набиты пышно разодетыми горожанами обоюго пола. Посредине комнаты, на высоком помосте, стол Тома. Впрочем, предоставим опять слово летописцу:

«В зал входит джентльмен с жезлом в руке, и вместе с ним другой, несущий скатерть, которую, после того как они трижды благоговейно преклонили колени, он постилает на стол; затем они оба снова преклоняют колени и удаляются. Тогда приходят двое других — один опять-таки с жезлом, другой с огромной солонкой, тарелкой и хлебом. Подобно первым, преклонив колени, они ставят принесенное ими на стол и удаляются с теми же церемониями. Наконец приходят двое придворных, оба в великолепных одеждах, у одного из них в руках столовый нож; протершись трижды на ковре изящнейшим образом, они приближаются к столу и начинают тереть его хлебом и солью, причем они делают это с таким страхом и трепетом, как если бы за этим столом уже восседал король».

Так заканчиваются торжественные приготовления к пиршеству. Но вот мы слышим в гулких коридорах звуки рога и далекий невнятный крик: «Дорогу королю! Дорогу его светлому величеству!» Эти звуки повторяются снова и снова, все ближе; наконец у самых наших ушей раздаются и эти возгласы и эта военная музыка. Еще минута, и в дверях возникает великолепное зрелище: мерной поступью входит сверкающая пышная процессия. Пусть дальше опять говорит летописец:

«Впереди идут джентльмены, бароны, графы и рыцари, кавалеры ордена Подвязки. Все роскошно одеты, у всех обнаженные головы; далее шествует канцлер между двумя лордами: один несет королевский скипетр, а другой — государственный меч острием кверху, в красных ножнах с вытисненными на них золотыми лилиями. Далее идет сам король. При его появлении двенадцать труб и множество барабанов исполняют приветственный туш, а на хорах все встают и кричат: „Боже, храни короля!“ Вслед за королем идут вельможи, приставленные к его особе, а по правую и по левую руку его почетная стража из пятидесяти дворян с золочеными бердышами в руках».

Все это было красиво и очень приятно. Сердце Тома сильно билось и в глазах светился веселый огонь. Все его движения были изящны. Это изящество достигалось именно тем, что Том не делал ни малейших усилий, чтобы достигнуть его, так как он был весь поглощен и очарован радостным зрелищем и мажорными звуками. Да и трудно ли быть изящным в красивом и ловко сшитом наряде, после того как ты уже успел привыкнуть к нему, — особенно в те минуты, когда этого наряда даже и не замечаешь. Помня данные ему наставления, он отвечал на общие приветствия легким наклоном головы и милостивыми, благосклонными словами:

— Благодарю тебя, мой добрый народ!

Он сел за стол, не снимая шляпы и нимало не смущаясь этой вольностью, так как обедать в шляпе был единственный царственный обычай, равно присущий и королям и Кенти. Свита короля разделилась на несколько живописных групп и осталась с непокрытыми головами.

Затем под звуки веселой музыки вошли королевские телохранители — «самые высокие и сильные люди во всей Англии, специально отобранные по этому признаку». Но опять-таки предоставим слово летописцу:

«Вошли гвардейцы-телохранители с непокрытыми головами, в алой одежде с золотыми розами на спине; они уходили и входили опять, всякий раз принося новые

кушанья на золотых и серебряных блюдах. Эти блюда принимал некий джентльмен в том самом порядке, как их приносили, и ставил их на стол, между тем как лорд, предназначенный для отведывания блюд, давал каждому из телохранителей попробовать то кушанье, которое он только что принес, дабы удостовериться, что оно не отравлено».

Том отлично пообедал, хотя и сознавал, что сотни глаз впиваются в каждый кусок, который он сует себе в рот, и с таким интересом глядят, как он разжевывает этот кусок, будто перед ним не еда, а взрывчатое вещество, угрожающее разнести его на мелкие части и разбросать по всему залу. Он старался быть очень медлительным в каждом движении и вдобавок не делать ничего самому, а ждать, пока специально предназначенный для этой цели придворный не опустится перед ним на колени и не сделает за него то, что надобно. В течение всего обеда Том ни разу не попал впросак — блистательный успех, без малейших изъянов.

Когда обед кончился и Том удалился в окружении пышной свиты под радостный стук барабанов, веселые звуки фанфар и громогласные приветствия толпы, он почувствовал, что, хотя обедать публично не такое уж легкое дело, все же он готов претерпевать эту пытку по нескольку раз в день, если такую ценою он может избавиться от других, более неприятных и тяжких обязанностей своего королевского звания.

17. Король Фу-фу Первый

Майлс Гендон торопливо прошел весь мост до саутворкского берега, зорко всматриваясь в каждого прохожего, в надежде настигнуть тех, кого искал. Но надежда его не сбылась. Расспрашивая встречных, он проследил часть их пути в Саутворке, но там следы обрывались, и он совершенно не знал, что ему делать дальше. И все же до самого вечера он продолжал свои поиски. Ночь застала его усталым, голодным, а от цели он был так же далеко, как и раньше. Он поужинал в харчевне Табард и лег спать, решив на другой день встать пораньше и обшарить весь город. Однако он долго не мог уснуть и рассуждал сам с собой таким, примерно, образом:

«Предположим, мальчику удастся убежать от негодяя, выдающего себя за его отца. Вернется ли он в Лондон, в свое старое жилье? Нет! Потому что он будет бояться, как бы его опять не поймали. Что же он сделает? В целом мире у него есть один

единственный друг и защитник — Майлс Гендон, и он, естественно, попытается разыскать своего друга, если только для этого ему не понадобится возвращаться в Лондон и подвергать себя новым опасностям. Он, безусловно, направится к Гендон-холлу, так как знает, что Майлс держит путь туда, в свой родной дом. Да, дело ясное: надо, не теряя времени тут, в Саутворке, двинуться через Кент на Монксгоlm, обыскивая по дороге леса и расспрашивая прохожих о мальчике».

Вернемся теперь к пропавшему без вести маленькому королю.

Оборванец, который, по словам трактирного слуги, подошел будто бы тут же на мосту к королю и молодому человеку, на самом деле не подходил к ним, но следовал за ними по пятам. В разговор с ними он не вступал. Левая рука его была на перевязи, и на левый глаз был наклеен большущий зеленый пластырь. Оборванец слегка прихрамывал и опирался на толстую дубовую палку. Молодой человек повел короля в обход через Саутворк, мало-помалу приближаясь к большой проезжей дороге. Король начинал сердиться, говорил, что дальше не пойдет, что не подобает ему ходить к Гендону, что Гендон обязан явиться к нему. Он не потерпит такой оскорбительной дерзости. Он останется здесь.

Молодой человек сказал:

— Ты хочешь остаться здесь, когда твой друг лежит раненый в лесу? Ладно, оставайся!..

Король сразу заговорил по-другому.

— Раненый? — воскликнул он. — Кто посмел его ранить? Впрочем, об этом потом, а сейчас веди меня, веди! Скорее, скорее! Что у тебя, свинцовые гири на ногах? Ранен? Поплатится же за это виновный, будь он хоть сыном герцога!

Лес был еще довольно далеко, но они быстро дошли до него. Молодой человек осмотрелся, нашел воткнутый в землю сук, к которому была привязана какая-то тряпочка, и повел короля в чащу; время от времени им попадались такие же сучья, служившие, очевидно, путеводными вехами. Наконец они дошли до поляны, где увидели остатки сгоревшего крестьянского дома, а рядом с ним полуразрушенный сарай. Нигде никаких признаков жизни, полная тишина кругом. Молодой человек вошел в сарай, король быстро вбежал за ним. Никого! Бросив на молодого человека удивленный и недоверчивый взгляд, король спросил:

— Где же он?

В ответ раздался издевательский смех. Король пришел в ярость, схватил полено и хотел кинуться на обманщика, но тут еще кто-то издевательски захохотал над самым его ухом. То был хромой бродяга, следовавший за ним по пятам. Король повернулся к нему и гневно спросил:

— Кто ты такой? Чего тебе надо здесь?

— Брось эти шуточки и перестань бушевать! — сказал бродяга. — Не так уж хорошо я перерядился, чтобы ты не мог узнать родного отца.

— Ты не отец мне. Я тебя не знаю. Я король. Если это ты похитил моего слугу, так найди и верни его мне, или ты горько раскаешься!

Джон Кенти ответил сурово и внушительно:

— Я вижу, что ты сумасшедший, и мне неохота наказывать тебя; но если ты вынудишь меня, я тебя накажу... Здесь твоя болтовня не опасна, потому что здесь некому обижаться на твои безумные речи, но все же тебе следует держать язык за зубами, чтобы не повредить нам на новых местах. Я убил человека и не могу оставаться дома, и тебя не оставлю, так как мне нужна твоя помощь. Я переименовал свое имя и хорошо сделал, — меня зовут Джон Гоббс, а тебя — Джек; запомни это покрепче! А теперь отвечай: где твоя мать, где сестры? Они не явились в условленное место; известно тебе, где они?

Король угрюмо ответил:

— Не приставай ко мне со своими загадками! Моя мать умерла; мои сестры во дворце.

Молодой человек чуть опять было не захохотал, но оскорбленный король сжал кулаки, и Кенти, или Гоббс, как он теперь называл себя, удержал своего спутника:

— Тише, Гуго, не дразни его; он не в своем уме, а ты его раздражаешь. Садись, Джек, и успокойся; сейчас я дам тебе поесть.

Гоббс и Гуго стали о чем-то тихо разговаривать между собой, а король, чтобы избавиться от их неприятного общества, отошел в полумрак, в самый дальний угол сарая, где земляной пол был на целый фут покрыт соломой. Король лег, укрылся, за

неимением одеяла, соломой и весь ушел в свои мысли. У него было много горестей, но какими ничтожными казались они перед великим горем — утратой отца. Имя Генриха VIII заставляло трепетать весь мир; при этом имени каждому рисовалось чудовище, дыхание которого все разрушает, рука которого умеет лишь карать и казнить, но для мальчика были связаны с этим именем только сладостные воспоминания, и образ, который он вызывал в своей памяти, дышал любовью и лаской. Он припоминал свои задушевные разговоры с отцом, с нежностью думал о них, и неудержимые слезы, струившиеся по его щекам, свидетельствовали о глубине его горя. День клонился к вечеру, и мальчик, истомленный своими невзгодами, заснул спокойным, целительным сном.

Много времени спустя — он не мог сказать, сколько именно, — еще не совсем проснувшись, лежа с закрытыми глазами и спрашивая себя, где он и что с ним случилось, он услышал над собой унылый, частый стук дождя по крыше; ему стало хорошо и уютно; но через минуту это чувство было грубо нарушено громким говором и хриплым смехом. Неприятно пораженный, он высвободил из соломы голову, чтобы посмотреть, что тут происходит. Непривлекательную и страшную картину увидел он. В другом конце сарая, на полу, ярко пылал костер; вокруг костра, в зловещем красном свете, лежали вповалку на земле бродяги и оборванцы. Ни в снах он не видел, ни в книгах не встречал подобных созданий. Здесь были мужчины высокие, загорелые, с длинными волосами, одетые в фантастические рубища; были подростки с жестокими лицами, такие же оборванные; были слепцы-нищие с повязками или пластырями на глазах; были калеки с костылями и деревяшками; больные с гноящимися, кое-как перевязанными ранами; был подозрительного вида разносчик со своим коробом; точильщик ножей, лудильщик, цирюльник — каждый со своим инструментом; среди женщин были совсем молодые, почти девочки, были и старые, сморщенные ведьмы. Все они кричали, шумели, бесстыдно ругались; все они были грязны и неряшливы; было здесь и трое младенцев с какими-то болячками на лицах, и несколько голодных собак с веревками на шее: они служили слепцам поводьями.

Ночь уже наступила, пир только что кончился, начиналась оргия. Жбан с водкой переходил из рук в руки. Раздался дружный крик:

— Песню! Песню! Пой, Летучая Мышь! Пой, Дик, и ты, Безногий!

Один из слепцов поднялся на ноги и приготовился петь, сорвав и швырнув на пол пластыри, закрывавшие его вполне здоровые глаза, и доску с трогательным

описанием причин его несчастья. Безногий освободился от своей деревяшки и на двух совершенно здоровых ногах стал рядом с товарищем. Затем оба загорланили веселую песню, а вся орава нестройно подхватывала припев. Когда дело дошло до последней строфы, полупьяный хор, увлекшись, пропел ее всю с самого начала, наполняя сарай такими оглушительными гнусавыми звуками, что даже стропила задрожали.

Вот как, примерно, звучал бы конец этой вдохновенной песни в переводе с воровского языка, на котором она была сложена:

Притон, прощай, не забывай,

Уходим в путь далекий.

Прощай, земля, нас ждет петля

И долгий сон, глубокий.

Нам предстоит висеть в ночи,

Качаясь над землею,

А нашу рухлядь палачи

Поделят меж собою.[19]

Затем пошла беседа, но уже не на воровском языке, — он употреблялся только тогда, когда было опасение, что подслушивают враждебные уши. Из разговора выяснилось, что Джон Гоббс не был здесь новичком, но и раньше водился с этой шайкой. Потребовали, чтобы он рассказал, что с ним было в последнее время, и когда он объявил, что «случайно» убил человека, все остались довольны; когда же он прибавил, что убитый — священник, все очень обрадовались и заставили его выпить с каждым по очереди. Старые знакомые радостно приветствовали его, новые гордились возможностью пожать ему руку. Его спросили, где он «штался столько месяцев», на что он ответил:

— В Лондоне лучше, чем в деревне, и безопаснее, особенно в последние годы, когда законы стали такие строгие и их приказывают так точно соблюдать. Если б не это убийство, я остался бы в Лондоне. Я уже совсем решил навсегда остаться в городе, но этот несчастный случай все спутал.

Он спросил, сколько теперь человек в шайке. Атаман ответил:

— Двадцать пять овчин, верстаков, напилков, кулаков, корзинщиков да еще старухи и девки[20]. Большинство здесь. Остальные пошли на восток, по зимней дороге; на заре и мы пойдем за ними.

— В этом благородном обществе я не вижу Уэна. Где он?

— Бедняга, он теперь в преисподней, питается там серой, а она слишком горяча для его изысканного вкуса. Его еще летом убили в драке.

— Грустно мне это слышать. Уэн был человек способный и отважный.

— Правильно! Черная Бэсс, его подруга, все еще с нами, но только сейчас ее нет — ушла на восток бродяжить. Красивая девушка, хороших правил и примерного поведения: никто не видал ее пьяной больше четырех раз в неделю.

— Она всегда себя держала строго, я помню; хорошая девчонка, достойная всяких похвал. Мать ее была куда распушеннее, не умела себя соблюдать. Пренесносная старуха и злющая, но зато умна, как черт.

— Ум ее и погубил. Она была такой отличной гадалкой и так ловко предсказывала будущее, что прослыла ведьмой. Ее изжарили, как велит закон, на медленном огне. Я был даже растроган, когда увидел, с каким мужеством она встретила свою горькую участь; до последней минуты она ругала и кляла толпу, которая на нее глазела, а огненные языки уже лизали ей лицо, и ее седые космы уже трещали вокруг старой ее головы. Я говорю — она всех кляла и ругала. А уж ругалась она — можно тысячу лет прожить и не услышать такой мастерской ругани! Увы, ее искусство умерло вместе с ней. Остались слабые и жалкие подражатели, но настоящей ругани теперь не услышишь.

Атаман вздохнул, слушатели тоже сочувственно вздохнули; на минуту компания приуныла, так как даже самые огрубелые люди не лишены чувствительности и изредка способны предаваться грусти и скорби — в таких, например, случаях, как этот, когда талант и искусство погибают, ни к кому не перейдя по наследству. Впрочем, щедрый глоток из жбана, снова пущенного вкруговую, скоро рассеял их тоску.

— А больше никто не попался из наших приятелей? — спросил Гоббс.

— Кое-кто попался. Чаще всего попадаются новички, мелкие фермеры, которые остаются без крова и без куска хлеба, когда землю у них отнимают под овечьи

пастбища. Такой начнет просить милостыню, его привяжут к телеге, снимут с него рубаху и стегают плетью до крови; забьют в колоду и высекут; он опять идет просить милостыню, — его опять угостят плетью и отрежут ему ухо; за третью попытку к нищенству — а что ему, бедняге, остается делать? — его клеймят раскаленным железом и продают в рабство; он убегает, его ловят и вешают. Сказка короткая, и рассказывать ее недолго. Поплатился и еще кое-кто из наших, да не так дорого. Встаньте-ка, Йокел, Бэрнс и Годж, покажите ваши украшения!

Названные встали и, стащив с себя лохмотья, обнажили спины, исполосованные старыми, зажившими рубцами от плетей; один откинул волосы и показал место, где было когда-то левое ухо; другой показал клеймо на плече — букву V, и изувеченное ухо; третий сказал:

— Я Йокел. Когда-то был я фермером и жил в довольстве, была у меня и любящая жена и дети. Теперь нет у меня ничего, и занимаюсь я не тем... Жена и ребята померли; может, они в раю, а может и в аду, но только, слава богу, не в Англии! Моя добрая, честная старуха мать ходила за больными, чтобы заработать на хлеб; один больной умер, доктора не знали, с чего, — и мою мать сожгли на костре, как ведьму, а мои ребятишки смотрели, как ее жгут, и плакали. Английский закон! Поднимите чаши! Все разом! Веселей! Выпьем за милосердный английский закон, освободивший мою мать из английского ада! Спасибо, братцы, спасибо вам всем! Стали мы с женой ходить из дома в дом, прося милостыню, таская за собою голодных ребят; но в Англии считается преступлением быть голодным, и нас ловили и били в трех городах... Выпьем еще раз за милосердный английский закон! Плети скоро выпили кровь моей Мэри и приблизили день ее освобождения. Она лежит в земле, не зная обиды и горя. А ребятишки... ну, ясно, пока меня, по закону, гоняли плетью из города в город, они померли с голоду. Выпьем, братцы, — один только глоток, один глоток за бедных малюток, которые никогда никому не сделали зла! Я опять стал жить подаением; протягивал руку за черствой коркой, а получил колоду и потерял одно ухо, — смотрите, видите этот обрубок? Я опять принялся просить милостыню — и вот обрубок другого уха, чтобы я не забывал об английском законе; но все же я продолжал просить, и, наконец, меня продали в рабство — вот на моей щеке под этой грязью клеймо; если смыть эту грязь, вы увидите красное P, выжженное раскаленным железом! Раб! Понятно ли вам это слово? Английский раб! Вот он стоит перед вами. Я убежал от своего господина, и если меня поймают, — будь проклята страна, создавшая такие законы! — я буду повешен.

Звонкий голос прозвучал в темноте:

— Ты не будешь повешен! С нынешнего дня этот закон отменяется!

Все повернулись туда, откуда раздался голос, и увидели быстро приближающуюся фантастическую фигурку маленького короля; когда он вынырнул на свет и стал отчетливо виден, со всех сторон полетели вопросы:

— Кто это? Что это? Кто ты такой, малыш?

Нимало не смущаясь этих удивленных и вопрошающих глаз, мальчик ответил с царственным достоинством:

— Я Эдуард, король Англии.

Раздался дикий хохот, не то насмешливый, не то восторженный, — уж очень забавна показалась шутка. Король был уязвлен, он сказал резко:

— Вы невоспитанные бродяги! Так вот ваша благодарность за королевскую милость, которую я вам обещал!

Он бранил их гневно и взволнованно, но его слова тонули среди хохота и глумливых восклицаний. Джон Гоббс несколько раз пытался перекричать крикунов, и, наконец, это ему удалось. Он сказал:

— Друзья, это мой сын, мечтатель, дурак, помешанный; не обращайтесь на него внимания: он воображает, что он король.

— Разумеется, я король, — обратился к нему Эдуард, — и ты в свое время убедишься в этом себе как горе. Ты сознался, что убил человека, тебя вздернут за это на виселицу.

— Ты задумал выдать меня? Ты? Да я своими руками...

— Потихе, потихе! — прервал его силач-атаман, бросаясь на помощь королю, и одним ударом кулака свалил Гоббса наземь. — Ты, кажется, не уважаешь ни королей, ни атаманов? Если ты еще раз позволишь себе забыться в моем присутствии, я сам вздерну тебя на первый сук. — Потом обернулся к его величеству: — А ты, малый, не грози товарищам и нигде не распускай о них дурной славы. Будь себе королем, коли тебе сдуру пришла такая охота, но пусть от этого никому не будет обиды. И не называй себя королем Англии, потому что это измена: мы, может быть, дурные люди и кое в

чем; поступаем неладно, но среди нас нет ни одного подлеца, способного изменить своему королю; все мы любим его и преданы ему. Сейчас увидишь, правду ли я говорю. Эй, все разом: да здравствует Эдуард, король Англии!

— ДА ЗДРАВСТВУЕТ ЭДУАРД, КОРОЛЬ АНГЛИИ!

Клич оборванцев прозвучал, как гром, и ветхое здание задрожало. Лицо маленького короля на миг озарилось радостью, он слегка наклонил голову и сказал с величавой простотой:

— Благодарю тебя, мой добрый народ.

Этот неожиданный ответ вызвал неудержимый взрыв хохота. Когда шум немного утих, атаман выговорил твердо, но добродушно:

— Брось это, мальчик, это неумно и нехорошо... Если тебе так уж хочется помечтать, выбери себе какой-нибудь другой титул.

Лудильщик громко предложил:

— Фу-фу Первый, король дураков!

Титул сразу понравился, и все заорали, надрывая глотку:

— Да здравствует Фу-фу Первый, король дураков!

Они гикали, свистели, мяукали, хохотали.

— Тащите его сюда, мы его коронуем!

— Мантию ему!

— Скипетр ему!

— На трон его!

Все эти возгласы и двадцать других посыпались разом, и не успел несчастный мальчик перевести дух, как его короновали жестяной кастрюлей, завернули его, как в мантию, в рваное одеяло, посадили, как на трон, на бочку и дали в руку вместо скипетра паяльную трубку лудильщика. Потом все кинулись перед ним на колени с насмешливыми воплями и издевательскими причитаниями, вытирая мнимые слезы рваными, грязными рукавами и передниками.

— Смилуйся над нами, о сладчайший король!

— Не попирай ногами твоих ничтожных червей, о благородный монарх!

— Сжался над твоими рабами и осчастливь их королевским пинком!

— Приласкай и пригрей нас лучами твоей милости, о палящее солнце единовластия!

— Освяти землю прикосновением твоей ноги, чтобы мы могли съесть эту грязь и стать благородными!

— Удостой плюнуть на нас, о государь, и дети детей наших будут гордиться воспоминанием о твоей царственной милости!

Но самую удачную шутку отколол весельчак лудильщик. Коленопреклоненный, он сделал вид, что целует ногу короля; тот с негодованием оттолкнул его ногой; тогда лудильщик стал подходить к каждому по очереди и выпрашивать тряпку, чтобы завязать то место на лице, которого коснулась королевская ножка, говоря, что после такой чести оно не должно подвергнуться грубому влиянию воздуха и что теперь он наживет себе состояние, всюду показывая это место по сто шиллингов за один взгляд. Это было так уморительно, что вся орава млела от восхищения и зависти.

Слезы стыда и гнева стояли в глазах маленького монарха. «Если б я их тяжело обидел, они не могли бы поступить со мной более жестоко; но я обещал им милость, — и вот как они отблагодарили меня!»

18. Принц у бродяг

Вся орава поднялась на рассвете и двинулась в путь. Над головой низко нависло небо, земля под ногами была скользкая, в воздухе веяло зимним холодом. Шайка приуныла; одни были угрюмы и молчаливы, другие сердиты и раздражительны; все были не в духе, каждому хотелось опохмелиться.

Атаман отдал «Джека» на попечение Гуго, коротко приказав Джону Кенти держаться в стороне и оставить сына в покое; а Гуго он велел не слишком грубо обращаться с мальчиком.

Мало-помалу погода стала лучше, тучи поднялись выше. Бродяги больше не дрожали от холода и воспрянули духом. Постепенно они развеселились, принялись зубоскалить и задевать прохожих, попадавших им навстречу. Это означало, что они снова стали ценить жизнь и ее радости. Их, очевидно, боялись: все уступали им дорогу и смиренно переносили их дерзости и насмешки, не осмеливаясь огрызнуться. Они снимали с изгороди развешанное для просушки белье, иногда на глазах у владельцев, которые не только не возражали, но даже были как будто благодарны, что бродяги не захватили и изгороди.

Вскоре они вторглись к небогатому фермеру и расположились как дома, пока дрожащий от страха хозяин и его домашние опустошали кладовую, чтобы приготовить им завтрак. Они трепали по подбородку фермершу и ее дочерей, когда те подкосили им кушанья, и с хохотом, похожим на лошадиное ржанье, обзывали их обидными прозвищами. Они швыряли кости и овощи в фермера и его сыновей, заставляя их увертываться, и шумно хлопали в ладоши, когда попадали в цель. В конце концов они вымазали маслом голову одной из хозяйских дочек, возмущившейся их наглыми шутками. Уходя, они грозились придти опять и сжечь дом вместе с хозяевами, если те посмеют донести о их проделках властям.

Около полудня, после долгой и утомительной ходьбы, орава сделала привал под изгородью, за околицей довольно большой деревни. Часок отдохнули, а потом бродяги разбрелись в разные стороны, чтобы войти в деревню с нескольких концов одновременно и заняться каждый своим ремеслом. Джека послали с Гуго. Они побродили по улице, и, наконец, Гуго, не находя, к чему приложить свое искусство, сказал:

— Нечего украсть. Жалкая деревушка. Нам придется просить милостыню.

— Нам? Ну уж нет! Ты проси, это твое ремесло. Но я просить милостыню не стану.

— Ты не станешь просить милостыню? — воскликнул Гуго, с удивлением вытаращив глаза на короля. — Скажи, с каких это пор ты так переменялся?

— Я тебя не понимаю.

— Не понимаешь? Да ведь ты всю жизнь просил милостыню на лондонских улицах.

— Я? Глупец!

— Побереги свои любезности — на дольше хватит. Твой отец говорит, что ты всю жизнь занимаешься нищенством. Может, он врет? Может, ты даже отважишься утверждать, что он врет? — поддразнивал Гуго.

— Это его ты называешь моим отцом? Да, он солгал.

— Ну ладно, приятель! Будет тебе ломать комедию и представляться сумасшедшим; повеселился — и хватит, а то как бы не нажать беды. Если я расскажу ему, он с тебя шкуру сдерет.

— Можешь не трудиться, я и сам ему скажу.

— Мне нравится твоя храбрость, ей-богу нравится. А вот рассуждаешь ты глупо. Побоев, пинков, тычков и без того достаточно, незачем их добывать самому. Но довольно об этом. Я верю твоему отцу. Я не сомневаюсь, что он умеет врать, не сомневаюсь, что он и врет при случае, — и лучшие из нас это делают; но тут ему незачем врать. А умный человек не тратит даром, такой полезной вещи, как ложь! Но если тебе не нравится просить милостыню, чем же мы займемся? Будем обворовывать кухни?

Король сказал раздраженно:

— Брось болтать глупости, ты мне надоел!

Гуго рассердился.

— Послушай, приятель, ты не хочешь воровать, не хочешь просить милостыню; будь по-твоему. Но вот что я заставлю тебя делать. Я буду просить милостыню, а ты заманивай прохожих. Посмей только отказаться!

Король презрительно посмотрел на него и хотел что-то возразить, но Гуго перебил его:

— Т-сс! Вот идет человек с добрым лицом. Я сейчас упаду наземь, будто в припадке. Когда этот человек подбежит ко мне, ты начни вопить, упади на колени, притворись, будто плачешь, кричи, словно дьяволы у тебя в брюхе, и скажи: «О сэр, это мой бедный, горемычный брат, у нас нет друзей. Именем господы заклинаю тебя: будь милосерд, сжался над больным, всеми брошенным, несчастным бедняком, удели один

маленький пенни от избытка твоего обиженному богом, погибающему человеку!» И помни: не переставай выть и не унимайся, покуда не выманишь у него пенни, иначе плохо тебе будет.

И Гуго тут же застонал, заплакал, начал закатывать глаза под лоб, шататься, вертеться на месте; а когда прохожий подошел поближе, он с криком упал на землю и забился в грязи, изображая страшные мученья.

— О боже! — воскликнул добрый прохожий. — Ах, бедняга, как он страдает! Я помогу тебе.

— Ах, нет, добрый сэ, не трогай меня, — пошли тебе господи всякого благополучия! Мне страшно больно, когда до меня дотрагиваются во время припадка. Вот мой брат расскажет твоей милости, что со мной делается, когда меня начинает вот этак корчить. Дай пенни, добрый сэ, и оставь меня мучиться.

— Один пенни! Да я дам тебе целых три, бедный ты человек!

И прохожий принялся поспешно шарить у себя в кармане, доставая деньги.

— Вот, голубчик, возьми, получай на здоровье! Пойди сюда, мальчик, помоги мне снести твоего бедного брата вот в тот дом, где...

— Он вовсе мне не брат... — перебил его король.

— Как! Он тебе не брат?

— Вот! Вы слышите? — застонал Гуго, скрежеща на короля зубами. — Он отрекается от родного брата, от брата, который одной ногой стоит в могиле!

— Если он твой брат, у тебя в самом деле жестокое сердце, мальчик! Как тебе не стыдно! Ведь он не может двинуть ни рукой, ни ногой! Если он не брат тебе, кто же он тогда?

— Нищий и вор! Он взял у тебя деньги и в это самое время залез тебе в карман. Если хочешь излечить его чудом, пусть твоя палка прогуляется по его плечам, в остальном можешь положиться на бога.

Но Гуго не стал дожидаться чуда. В один миг он вскочил на ноги и умчался, как ветер, а прохожий за ним, крича во все горло. Король, горячо поблагодарив небо за собственное избавление, побежал в противоположную сторону и не умерил шага, пока

не очутился вне опасности. Он свернул на первую попавшуюся дорогу и скоро оставил деревню далеко за собой. Несколько часов он торопливо шел, поминутно с тревогой оглядываясь, не гонятся ли за ним; но, наконец, страхи его улеглись, и радостное сознание безопасности охватило его. Теперь только он почувствовал, что голоден и очень устал. Он постучался было в ближайшую ферму, но ему не дали даже слова сказать и грубо выгнали вон: его одежда не внушала доверия.

Разгневанный и оскорбленный, он пошел дальше, решив, что впредь не станет подвергать себя таким унижениям. Но голод сильнее гордости, и под вечер он еще раз попытался найти приют на ферме; здесь его, однако, приняли еще хуже: изругали и посулили задержать как бродягу, если он не уберется сейчас же.

Наступила ночь, темная и холодная. А король все еще ковылял на усталых ногах. Ему поневоле приходилось идти и идти: едва он присаживался, холод пронизывал его до костей. Все чувства и впечатления во время этого странствия в торжественном мраке ночи по пустынным дорогам и полям были для него новы и странны. Временами он слышал голоса — они приближались, звучали совсем близко и постепенно замирали. Он не мог рассмотреть людей, а видел только неясные, скользкие тени; в этом было что-то призрачное, жуткое, и он вздрагивал от страха. Иногда он видел мерцающий свет вдали — словно в ином мире; иногда слышал звяканье овечьего колокольчика, далекое, неясное; приглушенное мычание коров, долетавшее до него с ночным ветром, было полно уныния; по временам из-за невидимых полей и лесов доносился жалобный вой собаки. Все звуки доносились издалека; и маленькому королю казалось, что все живое отступило от него вдаль, что он стоит, одинокий, затерянный, посреди беспредельной пустыни.

Он спотыкался, но все шел и шел. Мрачное обаяние этих новых впечатлений охватило его. Порою над головой у него чуть слышно шелестела сухая листва, и он вздрагивал от этого шороха, — ему казалось, что это шепчутся какие-то люди. Он шел и шел, пока, наконец, внезапно не увидел совсем близко свет жестяного фонаря. Он отпрянул назад, в тень, и стал ждать. Фонарь стоял возле сарая, у открытой двери. Король подождал немного — ни звука, ни шороха. Он так озяб, а гостеприимный сарай так манил к себе, что, наконец, он решился войти. Быстро, бесшумно прокравшись к двери, он переступил порог, и в ту же минуту услышал за собой голоса; он поскорее юркнул за бочку и присел на корточки. Вошли два батрака с фонарем и, болтая, принялись за работу. При свете фонаря король успел рассмотреть внутренность сарая и, заметив на другом конце его что-то вроде большого стойла, решил добраться до него,

когда останется один; он заметил также, что на полпути к стойлу лежит груда попон, и твердо вознамерился заставить их послужить этой ночью короне Англии.

Батраки кончили работать и ушли, забрав фонарь и заперев за собою двери. Дрожащий от холода король, спотыкаясь в потемках, поспешно добрался до попон, захватил их сколько мог и затем благополучно проскользнул к стойлу. Из двух попон он устроил себе постель, а остальными двумя укрылся. Теперь он был счастливым королем, хотя его одеяла были стары, тонки и не очень грели, да вдобавок от них еще противно пахло лошадиным потом.

Король продрог, его мучил голод, но все же он так устал, что вскоре его охватила дремота. Но как раз в ту минуту, когда он готов был заснуть по-настоящему, он ясно почувствовал, что кто-то дотронулся до него! Он сразу проснулся и затаил дыхание. У него чуть сердце не лопнуло, так испугало его это таинственное прикосновение в темноте. Он лежал неподвижно и прислушивался, едва дыша. Но все было безмолвно и недвижимо. Он слушал, как ему казалось, очень долго, но все по-прежнему было безмолвно и недвижимо. Он опять погрузился в дремоту; и вдруг снова ощутил таинственное прикосновение! Как ужасно прикосновение чего-то беззвучного и невидимого! Мальчик почувствовал безумный страх. Что ему делать? Это был вопрос, на который он никак не мог найти ответа. Покинуть это довольно удобное ложе и бежать от неведомого врага? Но куда бежать? Из сарая все равно выбраться нельзя — он заперт; а бродить в темноте из угла в угол в четырех стенах, как в тюрьме, когда за тобою скользит невидимый призрак, который может каждую минуту дотронуться до твоего плеча или руки, — нет, это еще страшнее. Но лежать всю ночь, умирая от страха, разве это лучше? Нет. Что же тогда делать? Он хорошо знал, что ему оставалось только одно: протянуть руку и выяснить, наконец, кто к нему прикасается.

Это легко было решить, но трудно выполнить. Три раза он робко протягивал руку впотьмах и тотчас же судорожно отдергивал ее назад, — не потому, что она прикоснулась уже к чему-нибудь, а потому, что он чувствовал, что она сейчас к чему-нибудь прикоснется. Но на четвертый раз он протянул руку немного дальше, и рука его слегка дотронулась до чего-то теплого и мягкого. Он окаменел от ужаса: ум его был в таком смятении, что ему почудилось, будто перед ним еще не остывший мертвец. Он подумал, что скорее умрет, чем дотронется до него еще раз. Но он ошибся, не зная непобедимой силы человеческого любопытства. Скоро его рука, дрожа, уже опять тянулась в ту сторону, — настойчиво тянулась, наперекор его решению, почти против воли. Он нащупал пучок длинных волос. Он вздрогнул, но провел рукой по волосам и

дотронулся до чего-то, похожего на теплую веревку; провел рукой по веревке и нащупал — невиннейшего телянка! Вережка была вовсе не веревкой, а телячьим хвостом.

Королю стало стыдно, что он натерпелся столько страхов и мучений из-за таких пустяков; но, по правде говоря, ему нечего было особенно стыдиться: он ведь испугался не телянка, а чего-то страшного, несуществующего, что он представил себе вместо телянка; всякий другой мальчик в те суеверные времена испугался бы не меньше его.

Король был в восторге не только оттого, что страшное чудовище оказалось простым телянком, но и оттого, что у него нашелся товарищ; он чувствовал себя таким одиноким и покинутым, что даже близость этого смиренного животного была ему отраднa. Люди так обижали его, так грубо с ним обходились, что для него было поистине утешением обрести, наконец, товарища, у которого хотя и нет глубокого ума, но по крайней мере доброе сердце и кроткий нрав. Он решил позабыть о своем высоком сане и подружиться с телянком.

Поглаживая рукой его теплую гладкую спинку, — телянок лежал совсем близко, — король сообразил, что новый друг может сослужить ему службу. Он взял свою постель и подтащил ее поближе к телянку; потом свернулся клубочком, опустив голову на спину телянка, натянул попону на себя и на своего друга, — и через минуту ему было так же тепло и удобно, как на пуховиках в королевском дворце в Вестминстере.

И сразу пришли приятные мысли, жизнь стала казаться радостнее. Он уже больше не слуга преступников, он избавлен от общества низких и грубых бродяг; над головой его крыша, ему тепло, — словом, он счастлив. Дул ночной ветер; он налетал порывами, от которых дрожал и трясся старый сарай, замирал, потом снова стонал и выл по углам и под крышей. Но все это было музыкой для короля теперь, когда ему стало хорошо и удобно; пусть дует и злится ветер, пусть плачет, свистит и стонет, — ему все равно. Он только сильнее прижимался к своему другу, наслаждаясь теплом, и незаметно уснул блаженным сном без сновидений, ясным и мирным. Вдали заливались собаки, печально мычали коровы, бушевал ветер, дождь яростно стучал по крыше, а его величество, властитель Англии, безмятежно спал; и рядом с ним спал телянок, простое создание, равнодушное к бурям и не стесняющееся спать рядом с королем.

19. Король у крестьян

Проснувшись рано утром, король заметил, что мокрая, но догадливая крыса прокралась ночью к нему и приютилась у него на груди. Когда он пошевелился, крыса убежала. Мальчик с улыбкой сказал:

— Глупая, чего ты боишься? Я такой же бездомный, как и ты. Стыдно мне было бы обидеть беззащитного, когда я сам беззащитен. Я признателен тебе за доброе предзнаменование: когда король опустил так низко, что даже крысы укладываются спать у него на груди, — это верный признак, что скоро судьба его должна измениться, так как ясно, что ниже упасть нельзя.

Он встал, вышел из стойла и в ту же минуту услышал детские голоса. Дверь сарая отворилась, и вошли две маленькие девочки. Заметив короля, они сразу перестали болтать и смеяться и остановились как вкопанные, разглядывая его с большим любопытством; потом пошептались, потом подошли ближе и опять остановились, опять поглядели на него и опять зашептались. Мало-помалу они набрались храбрости и начали говорить о нем довольно громко. Одна сказала:

— У него лицо красивое.

Другая прибавила:

— И волосы кудрявые.

— Но одет он очень скверно.

— И какой голодный на вид!

Они подошли ближе, застенчиво обошли несколько раз вокруг него, внимательно его рассматривая, словно он был каким-то странным, невиданным; зверем, боязливо и зорко наблюдая за ним, как бы боясь, что этот зверь, чего доброго, укусит. В конце концов они остановились перед ним, держась за руки, как бы ища защиты друг у дружки, и вытаращили на него свои простодушные глазенки; потом одна из них, набравшись храбрости, напрямик спросила:

— Кто ты, мальчик?

— Я король, — ответил он с достоинством.

Девочки слегка отшатнулись, широко раскрыв глаза, и полминуты не могли выговорить ни слова; потом любопытство взяло верх.

— Король? Какой король?

— Король Англии.

Девочки посмотрели друг на дружку, потом на него, потом опять друг на дружку — удивленно, смущенно. Затем одна из них сказала:

— Ты слышишь, Марджери? Он говорит, что он король. Может ли это быть правдой?

— Как же это может быть неправда, Присей? Разве он станет лгать? Ведь ты понимаешь, Присей, если это не правда, значит это ложь. Подумай как следует. Все, что не правда, то — ложь; с этим уж ничего не поделаешь.

Довод был здравый и неопровержимый; сомнения Присей сразу рассеялись.

Она подумала минутку, положила на честность короля и бесхитростно сказала:

— Если ты вправду король, я тебе верю.

— Я вправду король.

Таким образом дело уладилось. Королевское звание его величества было признано без дальнейших споров, и девочки принялись расспрашивать его, как он попал сюда, и почему он так не по-королевски одет, и куда он идет. Король и сам был рад отвести душу — рассказать о своих злоключениях кому-нибудь, кто не станет смеяться над ним или сомневаться в правдивости его слов; он с жаром рассказал свою историю, на время позабыв даже о голоде, и добрые девочки выслушали его с глубоким сочувствием. Но когда он дошел до последних своих несчастий и они узнали, как давно он ничего не ел, они перебили его на полуслове и потащили домой, чтобы поскорее накормить.

Теперь король был счастлив и весел.

«Когда я вернусь во дворец, — говорил он себе, — я буду всегда заботиться о маленьких детях, в память того, как эти девочки не испугались меня и поверили мне, когда я был в несчастье, а те, кто старше их и считают себя умнее, только издевались надо мною, выставя меня лжецом».

Мать девочек приняла короля участливо: ее доброе женское сердце было тронуту горькой долей бездомного мальчика, да еще вдобавок помешанного. Она была

вдова и далеко не богата, сама натерпелась довольно горя и потому умела сочувствовать несчастным. Она вообразила, что помешанный мальчик убежал от своих родных или сторожей, и все допытывалась, откуда он пришел, чтобы вернуть его домой; она называла соседние города и деревни, но все ее расспросы были напрасны. По лицу мальчика и по его ответам она видела, что ему незнакомо то, о чем она говорит. Он просто и охотно говорил о придворной жизни, раза два всплакнул, вспомнив о покойном короле, «своем отце», но как только разговор переходил на более низменные темы, мальчик становился безучастным и умолкал.

Женщина была озадачена, но не сдалась. Хлопоча у очага, она пускалась на всевозможные хитрости, чтобы выведать, кто такой этот мальчик. Она заговорила с ним о коровах — он остался равнодушен; завела речь об овцах — то же самое; таким образом, ее догадки насчет того, что он был пастухом, оказались ошибочными; она заговорила о мельницах, о ткачах, лудильщиках, кузнецах, о всевозможных мастерствах и ремеслах; потом о сумасшедшем доме, о тюрьмах, о приютах — напрасно: она всюду потерпела поражение. Впрочем, нет; может быть, он чей-нибудь слуга? Да, теперь она была уверена, что нашла на верный след: без сомнения, он служил в каком-нибудь доме. Она завела об этом разговор. Но и тут ничего не добились: разговор о подметании комнат и топке очага, видно, тяготил мальчика; чистка посуды не вызывала в нем никакого восторга. Тогда добрая женщина, уже теряя надежду, на всякий случай заговорила о стирке. К великому ее удивлению и радости, лицо короля вдруг просияло! Ага, наконец-то она поймала его; она была горда, что добились этого так проницательно и политично. Ее уставший язык мог, наконец, отдохнуть, потому что король, вдохновленный пожирающим его голодом и соблазнительным запахом, исходившим от брызгающих пеною горшков и кастрюль, пустился в долгие красноречивые описания разных лакомых блюд. Через три минуты женщина уже говорила себе: «Ну конечно, я была права: он работал на кухне!»

А король называл все новые и новые блюда и обсуждал их с таким воодушевлением и знанием дела, что женщина думала:

«Откуда он знает столько кушаний, да еще таких мудреных, которые подают за столом только у богачей и вельмож? А, понимаю! Теперь он оборванец, но прежде, пока не свихнулся, служил, должно быть, во дворце. Да, наверно он работал на кухне у самого короля! Надо испытать его!»

Чтобы проверить свою догадку, она велела королю присмотреть за кушаньем, намекнув, что он может и сам постряпать, коли у него есть охота, и приготовить одно-два блюда лишних. Потом вышла из комнаты, сделав знак своим дочкам следовать за нею.

Король пробормотал:

«В былые времена такое же поручение было дано другому английскому королю, нет ничего унижительного для моего достоинства заняться делом, до которого снизошел сам Альфред Великий[21]. Но я постараюсь лучше него оправдать доверие своей хозяйки, так как у него лепешки подгорели».

Намерение было доброе, но исполнение оказалось много хуже; скоро и этот король, как и тот — в былые времена, углубился в свои мысли, и случилась та же беда: кушанье подгорело. Женщина вернулась во-время, чтобы спасти завтрак от окончательной гибели, и быстро вывела короля из задумчивости, обругав его на совесть и без всяких церемоний. Затем, видя, что он сам огорчен тем, что не оправдал ее доверия, смягчилась и опять стала доброй и ласковой.

Мальчик вкусно и сытно позавтракал и после еды приободрился и повеселел. Этот завтрак был замечателен тем, что и хозяйка и гость относились друг к другу снисходительно, забывая о высоте своего звания; и в то же время ни гость не сознавал, что ему оказывается милость, ни хозяйка. Женщина собиралась покормить этого бродягу объедками где-нибудь в уголке, как кормят бродяг или собак, но ее мучила совесть, что она изругала его, ей хотелось чем-нибудь это загладить, и она посадила его за один стол с собою и своими детьми и — умышленно подчеркивая это — обращалась с ним, как с равным. Король со своей стороны укорял себя за то, что не оправдал доверия семьи, которая отнеслась к нему так ласково, и решил искупить свою вину, снизойдя к ним и не требуя, чтобы фермерша и дети стояли и прислуживали ему, в то время как он будет кушать один за столом, как приличествует его сану и званию. Каждому из нас полезно иногда отложить в сторону свое чванство. Добрая женщина весь день была счастлива, хваля себя за свое снисхождение к маленькому бродяге, а король тоже был доволен собой, потому что подарил своим благоволением простую крестьянку.

Когда завтрак был съеден, фермерша велела королю вымыть посуду; это в первую минуту смутило его, и он хотел было отказаться, но потом сказал себе: «Альфред Великий присматривал за лепешками; без сомнения, он вымыл бы и посуду, если бы его о том попросили. Попробую-ка и я!»

Проба оказалась неудачной; он был очень изумлен, так как думал, что вымыть деревянные ложки и миски — пустое дело. Занятие это оказалось скучным и хлопотливым, однако король кое-как справился. Ему уже не терпелось продолжать путь, но отделаться от домовитой фермерши было не так-то легко, она давала ему то одну, то другую работу, и он все исполнял добросовестно и довольно успешно. Между прочим, она посадила его вместе с девочками чистить зимние яблоки, но это у него не ладилось, тогда она велела ему наточить кухонный нож; потом заставила его расчесывать шерсть, и он скоро решил, что давно перещеголял доброго короля Альфреда в разных показных геройствах, которые выходят такими замечательными в рассказах и исторических книгах, словом! — что с него достаточно. И когда после обеда фермерша дала ему корзинку с котятами и велела их утопить, он отказался. Вернее, он собирался отказаться, так как чувствовал, что надо же где-нибудь поставить точку и что удобнее всего отказаться именно топить котят, — но ему помешали. Помешали Джон Кенти, с коробом разносчика за спиной, и Гуго!

Король увидел обоих негодяев, приближавшихся к воротам, прежде чем они успели его заметить; не сказав ни слова, он взял корзинку с котятами и тихонько вышел в заднюю дверь. Котят он оставил в сенях, а сам пустился во всю прыть по узкому переулку.

20. Принц и отшельник

Теперь он был скрыт от дома высокой изгородью. В смертельном страхе, он напряг все силы и помчался к далекому лесу. Он ни разу не оглядывался до тех пор, пока не достиг лесной опушки; тогда он оглянулся и увидел вдали двух мужчин. Этого было достаточно; он не стал рассматривать их, а поспешил дальше и не убавлял шага, пока не очутился в сумрачной чаще леса. Тут только он остановился, полагая, что теперь он в безопасности. Он чутко прислушался, — кругом стояла глубокая, торжественная тишина — тяжелая тишина, угнетающая душу. Лишь изредка, напрягая слух, он различал звуки, но такие отдаленные, глухие и таинственные, что казалось, то были не настоящие звуки, а лишь их стонущие и плачущие призраки. Эти звуки были еще страшнее той тишины, которую они нарушали.

Вначале он хотел до самого вечера не двигаться с места, но от бега он вспотел, и теперь ему стало холодно; пришлось идти, чтобы согреться ходьбой. Он пустился напрямик через лес, надеясь выйти где-нибудь на дорогу, но ошибся. Он все шел и

шел; но чем дальше, тем, казалось, гуще становился лес. Стемнело, и король понял, что скоро наступит ночь. Он содрогнулся при мысли, что ему придется заночевать в таком жутком месте; он стал торопиться, но от этого двигался еще медленнее, так как в полутьме не видел, куда ступает, и то и дело спотыкался о корни, запутывался в ветках и колючих кустах.

Как он обрадовался, когда, наконец, увидел слабый огонек! Он осторожно подошел к огоньку, часто останавливаясь, чтобы оглядеться и прислушаться. Этот огонек светился в оконце убогой маленькой хижины. Оконце было без стекол. Король услышал голос и хотел убежать и спрятаться, но, разглядев, что тот, кому принадлежал голос, молится, передумал. Он подкрался к окну, единственному во всей хижине, приподнялся на цыпочки и заглянул внутрь. Комната была маленькая, с земляным полом, плотно утопанным; в углу было устроено ложе из камыша, покрытое изодранными одеялами; тут же у постели виднелись ведро, кружка, миска, несколько горшков и сковородок; рядом невысокая скамейка и табурет с трех ножках; в очаге догорало пламя. Перед распятием, освещенным одною только свечой, стоял на коленях старик, а возле него, на старом деревянном ящике, рядом с человеческим черепом, лежала раскрытая книга. Старик был большой, костистый; волосы и борода у него были очень длинные и белые, как снег; на нем было одеяние из овечьих шкур, ниспадавшее от шеи до пят.

«Святой отшельник! — сказал себе король. — Наконец-то мне повезло!».

Отшельник поднялся с колен. Король постучался. Низкий голос ответил:

— Войди, но оставь грех за порогом, потому что земля, на которую ты ступишь, священна!

Король вошел и остановился. Отшельник устремил на него блестящие, беспокойные глаза и спросил:

— Кто ты такой?

— Я король, — услышал он ответ, простой и скромный.

— Добро пожаловать, король! — в восторге воскликнул отшельник.

Затем, лихорадочно суетясь и беспрестанно повторяя «добро пожаловать!», отшельник подвинул скамейку к огню, усадил на нее короля, подбросил в огонь охапку хвороста и возбужденно забегал по комнате из угла в угол.

— Добро пожаловать! Многие искали приюта в этом святилище, но оказались недостойны и были изгнаны. Но король, отвергший корону, презревший суетные почести, подобающие его сану, и облекшийся в лохмотья, чтобы провести свои дни в святости и умерщвлении плоти, — он достоин, он желанный гость! Он останется здесь до самой кончины.

Король поспешил прервать его и сообщил ему подлинные обстоятельства дела, но отшельник не обратил на его слова никакого внимания, даже, невидимому, не слышал их, а продолжал говорить с возрастающим жаром и все повышая голос:

— Здесь ты пребудешь в мире. Здесь никто не откроет твоего убежища, чтобы беспокоить тебя мольбами вернуться к пустой и суетной жизни, которую ты покинул, повинувшись божьему велению. Здесь ты будешь молиться; ты будешь изучать священное писание; ты будешь размышлять о безумии и обольщениях мира сего и о блаженстве будущей жизни; ты будешь питаться черствым хлебом и травами и ежедневно бичевать свое тело ради очищения души. Ты будешь носить на голом теле власяницу; ты будешь пить только воду; ты будешь наслаждаться покоем! — да, полным покоем, ибо тот, кто придет искать тебя, вернется осмеянный; он не найдет тебя, он не смутит тебя.

Старик продолжал ходить из угла в угол. Он уже не говорил вслух, а что-то бормотал про себя. Король воспользовался этим, чтобы рассказать свою историю. Под влиянием смутной тревоги и какого-то неясного предчувствия он рассказал ее очень красноречиво. Но отшельник продолжал ходить и бормотать, не обращая на него внимания. Все еще бормоча, он приблизился к королю и сказал выразительно, подчеркивая каждое слово:

— Тс-с! я открою тебе великую тайну!

Он наклонился к мальчику, но тотчас же отшатнулся, как бы прислушиваясь, подошел, крадучись, к окну, высунул голову, вглядываясь в потемки; потом на носках вернулся, приблизил свое лицо к самому лицу короля и прошептал:

— Я — архангел!

Король сильно вздрогнул и сказал себе: «Уж лучше бы мне остаться с бродягами! Теперь я во власти сумасшедшего!»

Его тревога усилилась и ясно отразилась у него на лице. Тихим, взволнованным голосом отшельник продолжал:

— Я вижу, ты чувствуешь, какая святость окружает меня! На челе твоём начертан благоговейный страх! Никто не может пребывать в этой святости и не ощутить этого страха, ибо это святость неба. Я улетаю туда и возвращаюсь во мгновение ока. Пять лет назад сюда, на это самое место, с небес были ниспосланы ангелы, чтобы возвестить мне о том, что я удостоен архангельского чина. От них исходил ослепительный свет. Они преклонили передо мною колени, ибо я ещё более велик, чем они. Я вознесся в небеса и беседовал с патриархами... Дай мне руку, не бойся... дай мне руку. Знай, что ты коснулся руки, которую пожимали Авраам, Исаак, Иаков! Я был в золотых чертогах, я видел самого господа бога!

Он остановился, чтобы поглядеть, какое впечатление произвела его речь; затем лицо его исказилось, и он снова вскочил на ноги, восклицая сердито:

— Да, я архангел. Только архангел! А я мог бы быть папой! Это истинная правда. Мне это сказал голос во сне двадцать лет тому назад. Да, меня должны были сделать папой! И я был бы папой, ибо такова воля небес. Но король разорил мой монастырь, и меня, бедного, гонимого монаха, лишили крова и отняли у меня мою великую будущность.

Он опять забормотал, в бессильной ярости ударяя себя кулаком по лбу; время от времени у него вырывались то проклятия, то жалобные возгласы.

— И вот почему я только архангел, когда мне предназначено было сделаться папой!

Так продолжалось целый час, а бедный маленький король сидел и мучился. Но вот ярость старика утихла, и он стал необычайно ласков. Голос его смягчился, он сошел с облаков на землю и принялся болтать так просто, так сердечно, что вскоре совсем покорила сердце короля. Он усадил мальчика поближе к огню, стараясь устроить его как можно удобнее; ловкой и нежной рукой промыл его порезы и царапины; затем стал готовить ужин, все время весело болтая и то трепля мальчика по щеке, то глядя его по

голове так нежно и ласково, что вместо страха и отвращения король скоро почувствовал к «архангелу» уважение и любовь.

Это приятное расположение духа продолжалось до конца ужина; затем, помолившись перед распятием, отшельник уложил мальчика спать в маленькой соседней каморке, укутав его заботливо и любовно, как мать, и, еще раз приласкав его на прощанье, оставил его и уселся у огня, рассеянно и бесцельно переворачивая головешки в очаге. Вдруг он остановился и несколько раз постучал пальцем по лбу, словно стараясь вспомнить какую-то ускользнувшую мысль. Но это ему, видимо, не удавалось.

Внезапно он вскочил и вошел в комнату гостя, с вопросом:

— Ты король?

— Да, — сквозь сон ответил мальчик.

— Какой король?

— Англии.

— Англии? Так Генрих умер?

— Увы, да. Я сын его.

Словно черная тень легла на лицо отшельника. Он со злобой сжал свои костлявые руки, постоял в раздумье, учащенно дыша и глотая слюну, потом хрипло выговорил:

— Знаешь ли ты, что это по его милости мы стали бездомными и бесприютными?[22]

Ответа не было. Старик наклонился, вглядываясь в спокойное лицо мальчика и прислушиваясь к его ровному дыханию.

— Он спит, крепко спит.

Мрачная тень на его лице сменилась выражением злобной радости. Мальчик улыбнулся во сне. Отшельник пробормотал:

— Сердце его полно счастья! — и отвернулся.

Он бесшумно бродил по комнате, чего-то ища; то останавливался и прислушивался, то оборачивался, чтобы взглянуть на кровать, и все бормотал, бормотал себе под нос. Наконец он, невидимому, нашел то, что искал: старый, заржавленный кухонный нож и брусок. Тогда он прокрался к своему месту у огня, сел и принялся оттачивать нож, все бормоча про себя, то тише, то громче. Ветер стонал вокруг одинокой хижины таинственные голоса ночи доносились из неведомой дали; блестящие глаза отважных крыс и мышей смотрели на старика изо всех щелей и норок, но он продолжал свою работу, увлеченный, ничего не замечая.

Иногда он проводил большим пальцем по лезвию ножа и с довольным видом кивал головой.

— Острее становится, — говорил он, — да, острее!

Он не замечал, как бежит время, и упорно работал, занятый своими мыслями, которые порой произносил вслух:

— Его отец обидел нас, разорил и отправился в ад гореть на вечном огне! Да, в ад, гореть на вечном огне! Он ускользнул от нас, но на то была божья воля... да, божья воля... и мы не должны роптать. Но ж не ускользнул от адского огня! Нет, он не ускользнул от адского огня, всепожиряющего, безжалостного, неугасимого, и этот огонь будет гореть до скончания века!

Он все точил, все точил, то невнятно бормоча, то посмеиваясь скрипучим смехом, то снова произнося вслух:

— Это его отец во всем виноват. Я только архангел, но если бы не он, я был бы папой!

Король пошевелился во сне. Отшельник бесшумно подскочил к постели, опустился на колени и занес над спящим, нож. Мальчик опять пошевелился; глаза его на миг открылись, но в них не было мысли, они ничего не видели; через минуту по его ровному дыханию стало ясно, что сон его опять крепок.

Некоторое время отшельник ждал и прислушивался, не двигаясь, затаив дыхание; потом медленно опустил руку и так же тихо прокрался назад, сказав:

— Полночь давно уже миновала; нехорошо, если он закричит, — вдруг случайно кто-нибудь будет проходить мимо.

Он как тень скользил по своей берлоге, подбирая где тряпку, где обрывок веревки; потом опять подошел к королю и осторожно связал ему ноги, не разбудив его. Затем попробовал связать и руки; он несколько раз пытался соединить их, но мальчик вырывал то одну руку, то другую как раз в то мгновение, когда веревка готова была охватить их; наконец, когда «архангел» уже почти отчаялся, мальчик сам скрестил руки, и в один миг они были связаны. Затем «архангел» сунул спящему повязку под подбородок и туго стянул ее узлом, на голове — так тихо, так осторожно и ловко, что мальчик все время мирно спал и даже не пошевелился.

21. Гендон приходит на выручку

Старик, ступая неслышно, как кошка, отошел и принес от очага низкую скамеечку. Он сел так, что одна половина его была вся озарена тусклым колеблющимся светом, а другая оставалась в тени. Не сводя глаз со спящего мальчика, он терпеливо оттачивал нож, все бормоча про себя и не замечая, как бегут часы; он был похож на серого чудовищного паука, готового проглотить неосторожное насекомое, запутавшееся в его паутине.

Наконец, много времени спустя, старик, который смотрел, но ничего не видел, поглощенный своими думами, вдруг заметил, что глаза мальчика открыты, широко открыты и глядят! — глядят, застыв от ужаса, на нож. Улыбка дьявольского торжества скользнула по лицу старика, и он, не меняя положения и не прерывая своей работы, спросил:

— Сын Генриха Восьмого, молился ли ты?

Мальчик беспомощно забился в своих узах, и невнятный звук вырвался из его крепко стянутых челюстей. Отшельник истолковал это как утвердительный ответ на свой вопрос.

— Так помолись снова! Читай отходную молитву!

Дрожь пробежала по телу мальчика, лицо его побледнело. Он опять забился на постели, пытаясь освободиться, изгибаясь и поворачиваясь во все стороны; он вырывался отчаянно, но напрасно; между тем старый людоед с улыбкой глядел на него, кивал головой и спокойно продолжал точить нож, время от времени бормоча:

— Твои минуты сочтены, и каждая из них драгоценна... Молись, читай себе отходную!

Мальчик горестно застонал и перестал метаться; он задышался, слезы капля за каплей текли по его лицу, но это жалостное зрелище несколько не смягчило свирепого старика.

Уже начинало светать; отшельник заметил это и заговорил резко, возбужденно:

— Нельзя мне больше растягивать это наслаждение. Ночь почти прошла. Она пролетела для меня как минута, как одна минута; а я хотел бы, чтобы она длилась год! Ну, отродье губителя церкви, закрой глаза, если тебе страшно смотреть...

Дальше речь его стала невнятна. Он упал на колени с ножом в руке и наклонился над стонущим мальчиком.

Но что это? У хижины послышались голоса. Нож выпал из рук отшельника; он набросил на мальчика овечью шкуру и вскочил, дрожа. Шум усиливался, голоса звучали грубо и гневно, слышны были удары и крики о помощи, затем топот быстро удаляющихся шагов. Тотчас же вслед за тем; раздался громовый стук в дверь хижины и крик:

— Эй! Отворяй! Да поскорее, во имя всех дьяволов!

О! Эта брань прозвучала музыкой в ушах короля: то был голос Майлса Гендона!

Отшельник, стиснув зубы в бессильной злобе, поспешно вышел из каморки, притворив за собою дверь; затем король услышал разговор, происходивший в «молельной»:

— Привет тебе и уважение, почтенный сэръ! Где мальчик, мой мальчик?

— Какой мальчик, друг?

— Какой мальчик! Не морочь меня, господин монах, не рассказывай мне сказок, я не расположен шутить. Невдалеке отсюда я встретил двух негодяев, должно быть тех самых, которые украли его у меня, и я выпытал у них правду: они сказали, что он опять убежал и что они проследили его до твоей двери. Они показали мне его следы. Ну, нечего больше хитрить! Берегись, святой отец, если ты не отдашь мне его!.. Где мальчик?

— О добрый сэръ, ты, должно быть, говоришь об оборванном бродяге царского рода, который провел здесь ночь? Если такие люди, как ты, могут интересоваться такими, как он, то да будет тебе известно, что я послал его с поручением. Он скоро вернется.

— Скоро вернется? Когда? Говори скорее, не теряй времени, не могу ли я догнать его? Когда он вернется?

— Не утруждай себя, он скоро придет.

— Ну, ладно, будь по-твоему! Попытаюсь дождаться его. Однако постой! Ты послал его с поручением, ты? Ну, уж это враки! Он не пошел бы. Он вырвал бы всю твою седую бороду, если бы ты позволил себе такую дерзость! Ты врешь, приятель, наверняка врешь! Не стал бы он никуда бегать ни ради тебя, ни ради любого другого человека.

— Человека — да! Ради человека, может быть, и не стал бы. Но я не человек.

— Господи, помилуй, кто же ты?

— Это тайна... смотри, не выдавай ее. Я архангел!

Майлс Гендон буркнул что-то не особенно почтительное, затем прибавил:

— Этим, конечно, и объясняется его снисхождение к тебе. Он палец о палец не ударит в угоду простому смертному; но архангелам даже король обязан повиноваться. Тсс! Что это за шум?

Все это время маленький король то дрожал от ужаса, то трепетал от надежды и все время старался стонать как можно громче, чтобы Гендон услышал его стоны, но с горечью убеждался, что либо эти звуки не доходят до его слуха, либо не производят на него никакого впечатления. Последние слова Гендона подействовали на короля, как свежий ветер полей на умирающего! Он опять застонал, напрягая все силы.

— Шум? — сказал отшельник. — Я слышу только шум ветра.

— Может, это ветер. Да, конечно ветер. Я все время слышу слабый шум... Вот опять! Нет, это не ветер! Какой странный звук! Пойдем посмотрим, что это такое!

Радость короля стала почти невыносимой. Его утомленные легкие работали из всех сил, но все было напрасно: туго стянутые челюсти и овечья шкура не пропускали звука. Вдруг его охватило отчаяние: он услышал, как отшельник сказал:

— Ах, это доносится снаружи. Наверно, вон из тех кустов. Пойдем, я провожу тебя.

Король слышал, как они вышли, разговаривая; слышал, как шаги их быстро замерли вдали, — и он остался один, среди страшного, зловещего безмолвия.

Прошла, кажется, целая вечность, прежде чем шаги и голоса раздались снова; на этот раз до короля донесся новый звук — стук копыт. Он услышал, как Гендон сказал:

— Дольше я не стану дожидаться. Не могу. Он, наверное, заблудился в этом густом лесу. В какую сторону он пошел? Укажи мне дорогу, живо!

— Вот сюда... Но погоди... Я пойду с тобой и буду указывать тебе путь.

— Спасибо... спасибо! Право, ты лучше, чем кажешься с первого взгляда. Не думаю, чтобы нашелся другой архангел с таким добрым сердцем... Может быть, ты хочешь ехать верхом? Так возьми осла, которого я приготовил для моего мальчугана... Или, может быть, ты предпочтешь обхватить своими святыми ногами этого злополучного мула, которого я купил для себя? Меня здорово надули! Этот мул не стоит и месячного процента на медный фартинг, отданный в долг безработному лудильщику.

— Нет, садись сам на мула, а ослика веди за собою! Я больше доверяю собственным ногам, — я пойду пешком.

— Тогда поддержи, пожалуйста, эту малую тварь, пока я с опасностью для жизни и со слабой надеждой на успех попытаюсь вскарабкаться на большую.

После этого слышались понукания, крики, свист бича, удары кулаками, отборнейшая громоподобная брань, наконец горькие упреки, которым мул, по-видимому, внял, так как военные действия прекратились.

С невыразимым горем слушал связанный маленький король, как замирали вдали шаги и голоса. Теперь он утратил всякую надежду на освобождение, и мрачное отчаяние овладело его сердцем. «Моего единственного друга увели обманом отсюда, — говорил он себе. — Старик вернется и...»

Он задохнулся и так неистово заметался на постели, что сбросил прикрывавшую его овечью шкуру.

И вдруг услышал звук отворившейся двери! При этом звуке холод пронизал его до костей: ему казалось, что он чувствует нож у своего горла. В смертельном страхе закрыл он глаза, в смертельном страхе открыл их снова — перед ним стояли Джон Кенти и Гуго!

Если бы у него рот не был завязан, он бы сказал: «Слава богу!»

Минуту спустя руки и ноги короля были свободны, и похитители, схватив его под руки с двух сторон, что было духу потащили в глубь леса.

22. Жертва вероломства

Опять начались скитания короля Фу-фу Первого в обществе бродяг и отщепенцев; опять пришлось ему выносить наглые издевательства и тупоумные шутки, а порой — за спиною у атамана — и злые проделки Джона Кенти и Гуго. Кроме Кенти и Гуго, у него не было настоящих врагов; иные даже любили его; и все восторгались его смелостью, его бойким умом. В течение двух-трех дней Гуго, под присмотр которому был отдан король, исподтишка делал все что мог, чтобы отравить мальчику жизнь; а ночью, во время обычных оргий, забавлял всю ораву, досаждая ему всякими мелкими пакостями, — всегда будто случайно. Два раза он наступил королю на ногу, — тоже случайно, — и король, как подобало его королевскому сану, отнесся к этому с презрительным равнодушием, словно бы не заметив; но когда Гуго в третий раз проделал то же, король ударом дубинки свалил его на землю, к полному восторгу всей шайки. Гуго, вне себя от гнева и стыда, вскочил на ноги, схватил дубинку и в бешенстве напал на своего маленького противника. Гладиаторов мгновенно окружили кольцом, подбадривали их окриками, бились об заклад, кто победит. Но бедному Гуго не везло — его яростные, неуклюжие удары были отбиты рукой, которую лучшие мастера Европы обучили всем тонкостям фехтовального искусства. Маленький король стоял изящно и непринужденно, зорко следя за каждым движением противника и отражая сыпавшийся на него град ударов так легко и уверенно, что живописная толпа оборванцев выла от восхищения; и всякий раз, как его опытный взгляд подмечал оплошность противника и молниеносный удар обрушивался на голову Гуго, рев и гогот кругом превращались в бурю. Через четверть часа Гуго, избитый, весь в синяках,

безжалостно осыпaeмый насмешками, с позором покинул поле битвы, а оставшегося целым и невредимым победителя буйная толпа подхватила и доставила на почетное место, рядом с атаманом, где он с подобающими церемониями был возведен в сан «короля боевых петухов»; его прежний, унижительный титул был торжественно упразднен, и объявлено было, что всякий, кто осмелится этот прежний титул произнести, будет изгнан из шайки.

Все попытки заставить короля приносить пользу шайке окончились неудачей: он упорно отказывался от всякого поручения; мало того, он все время думал о побеге. В первый же день его втокнули в пустую кухню, — он не только не похитил там ничего, но еще пытался позвать хозяев. Его отдали меднику помогать в работе, — он не стал работать; мало того, он грозился прибить медника его же паяльным прутом. В конце концов и медник и Гуго только о том и заботились, как бы не дать мальчишке убежать. Он метал громы своего царственного гнева на всякого, кто пытался стеснить его свободу или заставить его служить шайке. Его послали под присмотром Гуго просить милостыню вместе с оборванной нищенкой и больным ребенком, — но ничего не вышло: он не хотел просить милостыни ни для себя, ни для других.

Так прошло несколько дней; невзгоды этой бродячей жизни, тупость, низость и пошлость ее мало-помалу становилась невыносимыми маленькому пленнику, и он уже начинал чувствовать, что избавление от ножа отшельника было лишь временной отсрочкой смерти.

Но по ночам, во сне, он забывал обо всем и снова восседал на троне властелином. Зато как ужасно бывало его пробуждение! Начиная с того времени, как его захватили, и до поединка с Гуго тяготы его унижительной жизни росли с каждым днем и переносить их становилось все трудней и трудней.

На другое утро после поединка Гуго проснулся, пылая мезтью к своему победителю, и стал замышлять против него всевозможные козни. У него созрело два плана. Один состоял в том, чтобы как можно больше уязвить гордость и «воображаемое» королевское достоинство мальчика; а если этот план не удастся — взвалить на короля какое-нибудь преступление и потом предать его в руки неумолимого закона.

Следуя своему первому плану, он задумал сделать поддельную язву на ноге короля, справедливо полагая, что это оскорбит и унижит его сверх всякой меры; а когда язва будет готова, он с помощью Кенти принудит короля сесть у дороги, показывать ее

проходим и просить подаяния. Для того чтобы сделать такую искусственную язву, приготавливали тесто из негашеной извести, мыла и ржавчины, накладывали эту смесь на ремень и крепко обвязывали ремнем ногу. От этого кожа очень быстро слезала, и вид обнаженного мяса был ужасен; затем ногу натирали кровью, которая, высохнув, принимала отвратительный темно-бурый цвет. Больное место перевязывали грязными тряпками, но так, чтобы ужасная язва была видна и вызывала сострадание прохожих[23].

Гуго сговорился с медником — тем самым, которого король припугнул паяльным прутом; они повели мальчика будто бы на работу, но как только вышли в поле, повалили его наземь; медник держал его, а Гуго крепко-накрепко привязывал к его ноге припарку.

Король пришел в бешенство, он бушевал, грозился повесить обоих, как только вернет себе свою корону, но они крепко держали его, забавляясь его бессильными попытками вырваться, и хохотали над его угрозами. Между тем мазь начала быстро разъедать кожу; еще немного, и негодяи сделали бы свое дело, если бы им не помешали.

Но им помешали; появился «раб», тот самый бродяга, который с таким жаром проклинал английские законы. Он разом положил конец мерзкой затее, сорвав припарку с ноги короля.

Король хотел взять у своего спасителя дубину и тут же на месте проучить своих недругов; но тот не позволил, чтобы не поднимать шума, а посоветовал отложить дело до ночи, когда вся шайка будет в сборе и никто из посторонних не помешает. Они все вместе вернулись в лагерь, и о случившемся было донесено атаману. Атаман выслушал, подумал и заявил, что короля не следует заставлять просить милостыню, потому что он, очевидно, предназначен к чему-то высшему и лучшему, — и тут же на месте произвел его из нищих в воры!

Гуго был вне себя от радости. Он уже пробовал заставить короля воровать, но потерпел неудачу; теперь, конечно, никаких затруднений не будет: ведь не посмеет же король послушаться самого атамана. Он задумал в тот же день совершить кражу, рассчитывая предать короля во власть закона; притом сделать это так искусно, чтобы все вышло как бы случайно, — «король боевых петухов» был теперь общим любимцем, и бродяги, не питавшие особых симпатий к Гуго, обошлись бы с ним не слишком ласково, если бы тот вероломно предал мальчика общему врагу их — закону.

И вот, выбрав подходящее время, Гуго привел свою жертву в соседний городок. Они медленно бродили по улицам; один из них зорко глядел по сторонам, выжидая удобной минуты, чтобы осуществить свой злобный замысел, другой так же внимательно всматривался во все закоулки, чтобы при первой же возможности пуститься наутек и навсегда спастись от своего постыдного рабства.

Обоим представлялись удобные случаи; но ни тот, ни другой не воспользовались ими, так как в глубине души оба решили на этот раз действовать наверняка; ни один не хотел рисковать, не убедившись заранее в удаче своего предприятия.

Гуго посчастливилось первому: навстречу шла женщина с тяжело нагруженной корзинкой. У Гуго злорадно сверкнули глаза, и он сказал себе: «Издахнуть мне на этом месте, если я не взвалю это дело на тебя! А тогда — храни тебя бог, „король боевых петухов“!»

Он стоял с виду спокойный, но внутренне страшно волнуясь, и ждал, чтобы женщина поравнялась с ними; тогда он тихонько сказал:

— Погоди здесь, я сейчас вернусь! — и украдкой пустился следом за женщиной.

Сердце короля наполнилось радостью. Теперь, если только Гуго отойдет достаточно далеко, можно будет убежать.

Но надежде его не суждено было сбыться. Гуго незаметно подкрался к женщине сзади, выхватил из корзины узел и побежал назад, обмотав узел обрывком старого одеяла, висевшего у него на руке. Женщина подняла страшный крик: она не видела, как исчез узел, но тотчас же заметила кражу, потому что ее ноша вдруг стала легче.

Гуго, не останавливаясь, сунул узел в руки королю.

— Теперь беги за мной, — сказал он, — и кричи: «Держи вора!» Да смотри, старайся сбить их с толку!

Через мгновение Гуго уже скрылся за углом и помчался что есть духу по извилистой улице, а еще через минуту он опять вынырнул на глазах у всех с самым невинным и равнодушным лицом и остановился за деревом, наблюдая, что будет.

Оскорбленный король швырнул узел на землю; одеяло раскрылось как раз в ту минуту, когда прибежала женщина, за которой уже следовала целая толпа; женщина

схватила одной рукой короля за руку, а другой рукой свой узел и, высоко подняв его кверху, начала длинную речь, осыпая мальчика ругательствами и не отпуская его, как он ни старался вырваться.

Больше Гуго ничего не было нужно: враг его пойман и избежит кары. Он юркнул в переулочек и побежал по направлению к лагерю, посмеиваясь, торжествуя, радуясь; он бежал и раздумывал, как бы правдоподобнее рассказать эту историю шайке.

Король между тем отчаянно бился в сильных руках, крепко державших его, и раздраженно кричал:

— Пусти меня, глупая женщина! Говорят тебе: это не я воровал. Очень нужна мне твоя жалкая рухлядь!

Толпа окружила их, осыпая короля бранью и угрозами; здоровенный кузнец в кожаном фартуке, с засученными по локоть рукавами, подошел к нему, говоря, что нужно проучить его, — но тут в воздухе сверкнула длинная шпага и упала плашмя на руку кузнеца, а диковинный владелец шпаги дружелюбно сказал:

— Погодите, добрые люди, лучше действовать миром, без злобы, без ругани. Это дело не нам разбирать, а закону. Выпусти мальчика, добрая женщина!

Кузнец смерил взглядом статного воина и отошел прочь, ворча и потирая ушибленную руку; женщина неохотно выпустила маленького короля; зрители неприязненно косились на незнакомца, но благоразумно молчали. Король с горящими щеками и сверкающим взором бросился к своему избавителю.

— Ты долго медлил, сэр Майлс, но теперь пришел во-время. Повелеваю тебе, изруби эту толпу негодяев в куски!

23. Король арестован

Гендон, с трудом подавив улыбку, наклонился к королю и шепнул ему на ухо:

— Тише, тише, государь, не болтай лишнего, а еще лучше — совсем придержи язык. Положись на меня, и все пойдет хорошо.

И подумал: «Сэр Майлс!.. Господи помилуй, я совсем и забыл, что я рыцарь! Удивительно, до чего крепко сидят у него в памяти все его странные и безумные

фантазии!.. И хоть этот мой титул один пустой звук, все же мне лестно, что я заслужил его; пожалуй, больше чести быть достойным рыцарства в его царстве Снов и Теней, чем добиться ценой унижений графского титула в каком-нибудь настоящем царстве мира сего».

Толпа расступилась, чтобы пропустить полицейского; полицейский подошел и положил руку на плечо короля. Но Гендон сказал ему:

— Тише, приятель, прими руку! Он пойдет послушно, я за него отвечаю. Иди вперед, а мы пойдем за тобою.

Полицейский пошел вперед вместе с женщиной, которая несла корзинку; Майлс и король шли сзади, а за ними по пятам — толпа народа. Король стал было упираться, но Гендон шепнул ему:

— Подумай, государь, твоими законами держится вся твоя королевская власть; если тот, от кого исходят законы, не уважает их сам, как же он может требовать, чтобы их уважали другие. По-видимому, один из этих законов нарушен; когда король снова взойдет на трон, ему, без сомнения, будет приятно вспомнить, что, находясь в положении частного человека, он, невзирая на свой королевский сан, поступил, как подобает гражданину, и подчинился законам.

— Ты прав, ни слова более; ты увидишь, что если король Англии налагает ярмо законов на своих подданных, он и сам, очутившись в положении подданного, понесет это ярмо.

У судьи женщина подтвердила под присягой, что этот маленький арестант тот самый воришка, который ее обокрал; никто не мог опровергнуть ее, и все улики были против короля. Развязали узел, и когда в нем оказался жирный, откормленный поросенок, судья заволновался, а Гендон побледнел и задрожал; только король в своем неведении остался спокойным.

Судья зловеще медлил, потом обратился к женщине с вопросом:

— Во сколько ты оцениваешь твою собственность?

— В три шиллинга и восемь пенсов, ваша милость! Это самая добросовестная цена, я не могу сбавить ни одного пенни.

Судья недовольно оглядел толпу, кивнул полицейскому и сказал:

— Очисти помещение и запри двери!

Приказ был исполнен.

В суде остались только два служителя закона, обвиняемый, обвинительница и Майлс Гендон. Майлс был бледен, неподвижен, капли холодного пота выступили у него на лбу и покатались по лицу.

Судья опять обратился к женщине и сказал ласково:

— Это бедный, невежественный мальчик, может быть голодный, потому что теперь такие трудные времена для бедняков; посмотри на него: у него лицо не злое, но с голоду мало ли что делают... Известно ли тебе, добрая женщина, что за кражу имущества стоимостью выше тринадцати с половиной пенсов виновный, по закону, должен быть повешен?[24]

Маленький король широко открыл глаза от удивления, но сдержался и промолчал. Зато женщина вскочила на ноги, дрожа от страха и восклицая:

— Что же я наделала!.. Милосердный боже, да я вовсе не хочу, чтобы этот бедняк шел из-за меня на виселицу! Ах, избавьте меня от этого, ваша милость! Скажите, что мне делать!..

Судья, храня подобающее судье спокойствие, просто ответил:

— Без сомнения, можно сбавить цену, пока она еще не занесена в протокол...

— Ради бога, считайте, что поросенок стоит всего восемь пенсов! Слава тебе, господи, что ты не дал принять на душу такой тяжелый грех!

Майлс Гендон на радостях совершенно забыл об этикете; он удивил короля и уязвил королевское достоинство, обняв его и расцеловав. Женщина поблагодарила и ушла, унося с собой поросенка; полицейский отворил ей дверь и вышел вслед за нею в сени. Судья записывал все происшедшее в протокол. А Гендону, который всегда был настороже, захотелось узнать, зачем это полицейский пошел вслед за женщиной; он потихоньку прокрался в темные сени и услышал следующий разговор:

— Поросенок жирный и, верно, очень вкусный; покупаю его у тебя; вот тебе восемь пенсов.

— Восемь пенсов! Вот чего захотел! Да он мне самой стоил три шиллинга и восемь пенсов, настоящей монетой последнего царствования, которую старый Гарри, что помер недавно[25], не успел отобрать себе. Фигу тебе за твои восемь пенсов!

— А, ты вот как заговорила!.. Да ведь ты под присягой показала, что поросенок стоит восемь пенсов. Значит, ты дала ложную клятву. Иди со мной держать ответ за свое преступление! А мальчишку повесят.

— Ну, ну, будет тебе, добрый человек, молчи, я согласна. Давай сюда восемь пенсов, бери поросенка, только никому не рассказывай.

Женщина ушла вся в слезах. Гендон проскользнул назад, в комнату судьи, туда же вскоре вернулся и полицейский, спрятав в надежное место свою добычу. Судья еще некоторое время писал, затем прочел королю отечески мудрое и строгое наставление и приговорил его к кратковременному заключению в общей тюрьме, а затем к публичной порке плетью. Удивленный король раскрыл рот для ответа и, по всей вероятности, отдал бы приказ обезглавить доброго судью тут же на месте, но Гендон знаком предостерег его, и он сдержал себя вовремя. Гендон взял его за руку, поклонился судье, и оба, под охраной полицейского, отправились в тюрьму. Как только они вышли на улицу, взбешенный монарх остановился, вырвал руку и воскликнул:

— Глупец, неужели ты воображаешь, что я войду в общую тюрьму живым?

Гендон наклонился к нему и сказал довольно резко:

— Будешь ты мне верить или нет? Молчи и не ухудшай дела опасными речами! Что богу угодно, то и случится; ты ничего не можешь ни ускорить, ни отдалить; жди терпеливо — еще будет время горевать или радоваться, когда произойдет то, чему быть суждено.

24. Побег

Короткий зимний день шел к концу. Улицы были пусты, лишь изредка попадались прохожие, да и те шагали торопливо, с озабоченным видом людей, желающих возможно скорее покончить дела и укрыться в уютных домах от пронизывающего ветра и надвигающихся сумерек. Они не глядели ни вправо, ни влево; они не обращали никакого внимания на наших путников, даже как будто не видели их.

Эдуард Шестой спрашивал себя, случилось ли когда-нибудь, чтобы толпа смотрела на короля, шествующего в тюрьму, с таким великолепным равнодушием. Наконец полицейский дошел до совершенно пустой рыночной площади и стал пересекать ее. Дойдя до середины, Гендон положил руку на плечо полицейского и шепнул ему:

— погоди минутку, добрый сэ́р! Нас никто не слышит. Мне нужно сказать тебе два слова.

— Мой долг запрещает мне разговаривать, сэ́р! Пожалуйста, не задерживай меня, скоро ночь.

— А все-таки погоди, потому что дело близко тебя касается. Отвернись на минутку и притворись, будто ты ничего не видишь: дай бедному мальчику убежать.

— Как ты смеешь предлагать мне это? Арестую тебя именем...

— Постой, не торопись. Поспешность никогда не приводит к добру. — Гендон понизил голос и шепнул на ухо полицейскому: — Поросенок, купленный тобою за восемь пенсов, может стоять тебе головы!

Бедный полицейский, захваченный врасплох, сначала слова не мог выговорить, а потом начал грозить и ругаться. Но Гендон спокойно и терпеливо ждал, пока он угомонится, затем сказал:

— Ты мне понравился, приятель, мне не хотелось бы, чтобы ты попал в беду. Помни, что я все слышал, от слова до слова. Я сейчас докажу тебе это, — и он повторил слово в слово весь разговор полицейского с женщиной в сенях и прибавил: — Ну что, разве не так было дело? Разве я не могу, если понадобится, дать показания перед судьей?

В первую минуту полицейский онемел от страха и досады; потом пришел в себя и с напускной развязностью возразил:

— Ты делаешь из мухи слона; мне просто вздумалось подшутить над этой женщиной ради забавы.

— И поросенка ты оставил у себя ради забавы?

Полицейский ответил торопливо:

— Конечно, добрый господин. Говорят тебе, что это была шутка.

— Я начинаю тебе верить, — сказал Гендон не то всерьез, не то в насмешку. — Так ты постой здесь немного, а я сбегаю спрошу его милость судью, — он ведь человек опытный, разбирается и в законах, и в шутках, и в...

Он повернулся и пошел, договорив уже последние слова на ходу. Полицейский помедлил немного, потоптался на одном месте, выругался раза два, потом крикнул ему вдогонку:

— Постой, добрый сэръ, погоди минутку! Ты говоришь, судью спросишь? Да он на шутки туп, как чурбан! Пойди-ка лучше сюда, давай поговорим! Странное дело! Я, кажется, попал в историю, и все из-за невинной, необдуманной забавы. Я человек семейный, у меня жена, дети... Рассуди же здраво, твоя милость, чего ты хочешь от меня?

— Только того, чтобы ты был слеп, нем и не двигался с места, пока не досчитаешь до ста тысяч, — сказал Гендон с таким видом, как будто просил о самой ничтожной услуге.

— Да ведь я тогда пропащий человек! — с отчаянием вскричал полицейский. — Будь же рассудителен, мой добрый сэръ; ведь ты же сам понимаешь, что то была шутка и ничего больше. А если даже принимать ее всерьез, так и то за такую малость самое большее, чем я рискую, это получить нагоняй от судьи: он сделает мне выговор и посоветует никогда не повторять подобных дел.

— Это шутка? — с ледяной торжественностью возразил Гендон. — Эта твоя шутка носит в законе название, ты знаешь какое?

— Я этого не знал! Может быть, я был неосторожен. Мне и в голову не приходило, что это уже носит название... Я думал, что я первый изобрел такую шутку.

— Да, она имеет название. В законах она называется *Non compos mentis lex talionis sic transit gloria imundi*[26].

— Ах, господи!

— И наказание — смертная казнь!

— Господи, помилуй меня, грешного!

— Воспользовавшись преимуществом своего положения, злоупотребив беспомощностью зависящего от тебя лица, ты захватил за бесценок чужую собственность стоимостью свыше тринадцати пенсов с половиной; а это в глазах закона есть умышленная недобросовестность, вероломство, превышение власти, *ad hominem exurgatis in status quo*, и наказание за это — смерть на виселице, без выкупа, пощады, покаяния и утешения религии.

— Поддержи меня, ради бога, мой добрый сэръ, ноги не держат меня! Сжался, избавь меня от гибели, и я стану к вам спиной и ничего не увижу и не услышу.

— Ладно! Наконец-то ты поумнел. А поросенка ты отдашь этой женщине?

— Отдам, непременно отдам! И никогда в жизни больше не дотронусь до поросенка, хотя бы сам архангел мне принес его с небес! Ступай, я ради тебя ослеп на оба глаза, я ничего не вижу. Я скажу, что ты силой вырвал у меня из рук осужденного. Дверь в тюрьме ветхая, плохая, я сам выломаю ее после полуночи.

— Выломай, добрая душа, худого от этого никому не будет. Судья сам жалеет бедного мальчика; он не станет проливать слезы и ломать тюремщику кости из-за того, что мальчик убежит.

25. Гендон-холл

Едва полицейский скрылся из виду, Гендон попросил его величество поспешить за город и там ждать, пока он сходит в трактир и расплатится по счету. Полчаса спустя два друга уже весело трусили к востоку на жалких одрах Гендона. Королю теперь было тепло и удобно, потому что он сбросил свои лохмотья и оделся в поношенное платье, купленное Гендоном на Лондонском мосту.

Гендон не хотел переутомлять мальчика; он полагал, что дорожная усталость, еда не во-время и скудный сон будут вредно действовать на его расстроенный ум, тогда как покой и правильная жизнь, несомненно, ускорят выздоровление. Он жаждал увидеть своего маленького друга здоровым, жаждал освободить его мозг от болезненных видений и поэтому решил подвигаться к родному дому, из которого так давно был изгнан, не спеша, маленькими переходами, вместо того чтобы, повинуясь голосу своего нетерпения, скакать туда день и ночь.

Проехав миль десять, наши путники добрались до большой деревни и остановились там на ночь в хорошем трактире. Между ними снова установились прежние отношения: во время обеда Гендон стоял за стулом короля и прислуживал ему, вечером раздевал его и укладывал в постель, а сам ложился на полу у порога, закутавшись в одеяло.

На другой день и еще на следующий они ехали медленно, беседуя о том, что с ними случилось после разлуки, и забавляя Друг друга своими рассказами. Гендон описал подробно свои странствования в поисках короля; рассказал, как «архангел» водил его, словно дурака, по всему лесу и в конце концов, убедившись, что от него не так-то легко отделаться, привел его опять в хижину. Тут старик пошел прямо в спальню и вышел оттуда шатаясь, с сокрушенным видом, говоря, что он рассчитывал застать мальчика уже дома в постели, но не нашел его. Гендон прождал в хижине целый день, но затем, потеряв всякую надежду на возвращение короля, снова отправился на поиски.

— А старый святоша действительно был очень огорчен, что ваше величество не вернулись к нему, — сказал Гендон, — это было видно по его лицу.

— В этом я не сомневаюсь, — сказал король и в свою очередь рассказал, что было с ним; выслушав его, Гендон очень пожалел, что не убил «архангела».

В последний день пути Гендон был очень возбужден. Он болтал без умолку. Он говорил о своем старике отце, о своем брате Артуре, приводил разные примеры их великодушия и благородства, с любовью рассказывал о своей Эдит и был так счастлив, что даже о Гью говорил по-братски, почти с нежностью. Он вслух мечтал о предстоящей встрече с родными, о том, какой неожиданностью будет его приезд в Гендонский замок и какую бурю восторгов и радости он вызовет.

Они ехали по красивой местности, мимо домиков и фруктовых садов; дорога шла через широкие пастбища; отлогие подъемы и спуски напоминали морские волны. После полудня возвращающийся блудный сын все чаще отклонялся от своего пути, взбирался на какой-нибудь бугор и пытался разглядеть вдали крышу родного дома. Наконец он разглядел ее и взволнованно крикнул:

— Вот деревня, государь, а вот и замок с ней рядом! Отсюда видны башни; а вон тот лес — это парк моего отца. Теперь ты увидишь, что такое знатность и роскошь! В доме семьдесят комнат — подумай только! — и двадцать семь слуг. Не дурной дом для

таких, как мы с тобой, а? Ну, торопись, я не в силах дольше сдерживать свое нетерпение!

Но как они ни торопились, было уже больше трех часов, когда они доехали до деревни. Пока они проезжали через нее, Гендон не умолкал ни на минуту:

— Вот и церковь, обвитая все тем же плющом. Все по-прежнему, ничего не изменилось. А вот гостиница «Старый Красный Лев», вот рыночная площадь, вот майский шест, вот водокачка, — ничего не изменилось, кроме людей конечно; за десять лет люди должны измениться; некоторых я как будто узнаю, но меня не узнает никто.

Так он болтал не переставая. Скоро они доехали до конца деревни и свернули на узкую извилистую дорогу, обнесенную с двух сторон высокими изгородями, быстро проскакали по ней с полмили, затем через огромные ворота на высоких каменных столбах, украшенных лепными гербами, въехали в обширный парк. Перед ними было величественное здание.

— Приветствую тебя в Гендон-холле, король! — воскликнул Майлс. — О, сегодня великий день! Мой отец, и мой брат, и леди Эдит, наверное, так обезумеют от радости, что на первых порах у них не будет ни глаз, ни ушей ни для кого, кроме меня, так что тебя, возможно, примут холодно. Но ты не обращай внимания, — это скоро пройдет. Стоит мне сказать, что ты мой воспитанник, что я всей душой люблю тебя, и, ты увидишь, они обнимут тебя ради Майлса Гендона и навсегда дадут тебе приют и в своем доме и в своем сердце!

Гендон соскочил наземь у подъезда, помог королю сойти, потом взял его за руку и поспешно вошел. Несколько ступенек ввели их в обширный покой. Гендон торопливо и бесцеремонно усадил короля, а сам подбежал к молодому человеку, сидевшему за письменным столом у камина, где пылал яркий огонь.

— Обними меня, Гью, — воскликнул он, — и скажи, что ты рад моему возвращению! Позови нашего отца, потому что родной дом для меня не дом, пока я не увижу его, не прикоснусь к его руке, не услышу снова его голоса.

В первую минуту Гью не сумел скрыть своего удивления, но сразу же отпрянул назад и остановил на прищельце долгий, пристальный взор. Этот взор сначала был полон оскорбленного достоинства, затем изменился под влиянием какой-то мысли и

выразил недоумение, смешанное с неподдельным или притворным участием. Потом он мягко произнес:

— У тебя, по-видимому, голова не в порядке, бедный незнакомец; ты, без сомнения, много страдал, и люди обходились с тобой неласково, это видно и по лицу твоему и по платью. За кого ты меня принимаешь?

— За кого я тебя принимаю? За того, кто ты есть. Я принимаю тебя за Гью Гендона, — резко сказал Майлс.

Тот продолжал так же мягко:

— А себя ты кем воображаешь?

— Воображение тут ни при чем! Как будто ты не узнаешь во мне своего брата, Майлса Гендона?

Гью, казалось, был радостно удивлен и воскликнул:

— Как, ты не шутишь? Разве мертвые оживают? Дай бог, чтобы это было так! Наш бедный пропавший мальчик вернулся в наши объятия после стольких лет жестокой разлуки! Ах, это слишком хорошо и поэтому не может быть правдой! Умоляю тебя, не шути со мною! Скорее идем к свету — дай мне рассмотреть тебя хорошенько.

Он схватил Майлса за руку, потащил его к окну и принялся его осматривать с ног до головы, пожирая глазами, поворачивая во все стороны и сам обходя вокруг, чтобы разглядеть его со всех сторон; а возвратившийся блудный сын, сияя радостью, улыбался, смеялся и кивал головой, приговаривая:

— Смотри, брат, смотри, не бойся, ты не найдешь ни одной черты, которая не могла бы выдержать испытания. Разглядывай меня, сколько душе будет угодно, милый мой старый Гью! Я в самом деле прежний Майлс, твой Майлс, которого вы считали погибшим. Ах, сегодня великий день! Дай мне твою руку, дай поцеловать тебя в щеку. Я, кажется, умру от радости.

Он собирался обнять брата; но Гью отстранил его рукой, уныло опустил голову на грудь и с волнением сказал:

— Боже милосердный, дай мне сил перенести это тяжкое разочарование!

Майлс от удивления в первую минуту не мог произнести ни слова; затем воскликнул:

— Какое разочарование? Разве я не брат твой?

Гью печально покачал головой и сказал:

— Молю небо, чтобы это было так и чтобы другие глаза нашли сходство, которого не нахожу я. Увы! Боюсь, что письмо говорило жестокую правду.

— Какое письмо?

— Полученное из заморских краев лет шесть или семь тому назад. В нем было сказано, что брат мой погиб в сражении.

— Это ложь! Позови отца, он узнает меня.

— Нельзя позвать того, кто умер.

— Умер? — Голос Майлса зазвучал глухо, и губы его задрожали. — Мой отец умер! О, горькая весть! Радость моя отравлена. Пожалуйста, проводи меня к моему брату Артуру, — он узнает меня; узнает и утешит.

— Он тоже умер.

— Боже, будь милостив ко мне, несчастному! Умерли, оба умерли! Достойные умерли, а я, недостойный, остался жить! Ах, пощади меня, не говори, что и леди Эдит...

— Умерла? Нет, она жива.

— Ну, слава богу! Теперь я снова счастлив! Поспешите же, брат, позовите ее сюда ко мне! Если и она скажет, что я не я... Но она этого не скажет; нет, нет, она узнает меня. Я глупец, что сомневаюсь в этом. Позовите ее, позовите и старых слуг; они тоже узнают меня.

— Все они умерли, кроме пятерых: Питера, Гэлси, Дэвида, Бернарда и Маргарэт.

С этими словами Гью вышел из комнаты. Майлс подумал немного, потом начал ходить из угла в угол, бормоча про себя:

— Странное дело: пятеро мерзавцев живы, а двадцать два честных человека умерли!

Он все ходил взад и вперед и бормотал про себя; он совершенно забыл о короле. Наконец его величество с неподдельным участием произнес слова, которые можно было, впрочем, принять за насмешку:

— Не огорчайся своей неудачей, бедный человек: есть и другие в этом мире, чья личность и чьи права остаются непризнанными. У тебя есть товарищ по несчастью.

— Ах, государь, — воскликнул Гендон, слегка покраснев, — не осуждай меня хоть ты! Подожди — и ты увидишь. Я не обманщик — она сама это скажет; ты услышишь это из прелестнейших уст. Я обманщик? Да ведь я знаю этот старый зал, эти портреты моих предков, как дитя знает свою детскую. Здесь я родился и вырос, государь, я говорю правду, я не стал бы обманывать тебя; и если никто другой мне не поверит, умоляю тебя, не сомневайся во мне хоть ты: я этого не вынесу.

— Я не сомневаюсь в тебе, — сказал король с детской простотой и доверчивостью.

— Благодарю тебя от всей души! — с жаром воскликнул Гендон. Он был искренне растроган. А король прибавил так же просто:

— Ведь ты не сомневаешься во мне?

Гендону стало стыдно, и он обрадовался, когда вошел Гью и избавил его от необходимости ответить.

Вслед за Гью вошла красивая дама, богато одетая, а за нею несколько слуг в ливреях. Дама шла медленно, опустив голову и глядя в пол. Лицо ее было невыразимо грустно. Майлс Гендон бросился к ней, восклицая:

— О моя Эдит, дорогая моя!..

Но Гью спокойно отстранил его и сказал даме:

— Посмотрите на него. Вы его знаете?

При звуке голоса Майлса красавица слегка вздрогнула, щеки ее порозовели; теперь она дрожала всем телом. Долго стояла она неподвижно и тихо, потом медленно подняла голову и посмотрела прямо в глаза Гендону испуганным, словно окаменевшим

взглядом; капля за каплей вся кровь отлила от ее лица, и оно покрылось смертельной бледностью. Голосом, таким же мертвенным, как ее лицо, она сказала:

— Я не знаю его.

Затем она повернулась, подавив стоя, и нетвердой поступью вышла из комнаты.

Майлс Гендон упал в кресло и закрыл лицо руками. Помолчав, брат его сказал слугам:

— Вот этот человек. Он вам известен?

Они покачали головами. Тогда их господин сказал:

— Слуги не узнают вас, сэра. Боюсь, что это какое-то недоразумение. Вы видели, моя жена тоже не узнала вас.

— Твоя жена! — В один миг Гью оказался прижатым к стене, и железная рука схватила его за горло. — Ах ты, раб с лисьим сердцем! Теперь я все понимаю! Ты сам написал это лживое письмо, чтобы украсть у меня отцовское наследство и невесту. Получай! Теперь убирайся, пока я не замарал своей честной солдатской руки убийством такой жалкой твари.

Гью, весь багровый, задыхаясь, едва дошел до ближайшего кресла и повалился в него, приказав слугам схватить и связать разбойника. Слуги медлили. Один из них сказал:

— Он вооружен, сэра Гью, а мы безоружны.

— Вооружен? Так что же! Он один, а вас много. Говорят вам, вяжите его!

Но Майлс посоветовал им быть осторожнее.

— Вы меня знаете: я какой был, такой и остался. Попробуйте только ко мне подойти!

Эти слова не прибавили храбрости слугам. Они попятились.

— Убирайтесь, трусы! Вооружитесь и охраняйте все выходы, куда я пошлю кого-нибудь за стражей, — сказал Гью.

На пороге он обернулся к Майлсу и добавил:

— А вам советую не ухудшать своего положения бесполезными попытками к бегству.

— Бегство? Пусть это тебя не беспокоит. Майлс Гендон — хозяин в Гендонском замке и во всех его угодьях. Он здесь останется, не сомневайся!

26. Не признан

Король посидел немного, подумал, потом посмотрел на Майлса и сказал:

— Странно, чрезвычайно странно! Не понимаю, что это значит.

— Нисколько не странно, государь! Я его знаю, от него другого и ждать нельзя, — он был негодяем со дня рождения.

— О, я говорю не о нем, сэр Майлс!

— Не о нем? Так о чем же? Что тебе кажется странным?

— Что короля до сих пор не хватились...

— Как? Что такое? Я тебя не понимаю.

— Не понимаешь? Разве не кажется тебе удивительным, что по всей стране не рыщут гонцы, разыскивая меня, и не видно нигде объявлений с описанием моей особы? Разве можно не волноваться и не скорбеть, зная, что глава государства пропал бесследно? Что я скрылся и исчез?

— Совершенно верно, мой король. Я позабыл об этом.

Гендон вздохнул и пробормотал про себя: «Бедный помешанный! Он все еще поглощен своей трогательной мечтой».

— Но у меня есть план, который поможет нам обоим восстановить свои права. Я напишу бумагу на трех языках: по-латыни, по-гречески и по-английски; а ты завтра утром скачи с ней в Лондон! Не отдавай никому, кроме моего дяди, лорда Гертфорда; когда он увидит ее, он сразу узнает, что это писал я. Он пришлет за мною.

— Не лучше ли нам будет, мой принц, подождать здесь, пока я докажу свои права и вступлю во владение своими поместьями? Мне тогда будет гораздо удобнее...

Король властно перебил его:

— Молчи! Что такое твои ничтожные поместья и твои жалкие интересы, когда дело идет о благе нации и неприкосновенности престола! — И прибавил уже мягче, как бы сожалея о своей суровости: — Повинуйся мне без боязни! Я восстановлю тебя в твоих правах. Я возвращу тебе все, что у тебя было, и даже увеличу твои владения. Я припомню твои услуги и вознагражу тебя. — С этими словами он взял перо и принялся за работу. Гендон с любовью смотрел на него, говоря себе: «Будь здесь темно, я мог бы подумать, что со мною действительно говорит король; когда он разгневан, он мечет грома и молнии, словно настоящий король. Где он этому научился? Вон он там царапает бессмысленные каракули, воображая, что это латинские и греческие слова! Если только мне не удастся придумать какую-нибудь хитрость, чтобы отвлечь его, мне придется завтра притвориться, будто я отправляюсь в путь исполнять его нелепое поручение».

Через минуту мысли сэра Майлса уже вернулись к недавним событиям. Он был так поглощен своими думами, что, когда король подал ему исписанную бумагу, он взял ее и машинально положил в карман.

— Как она удивительно странно вела себя! — бормотал он. — Она как будто узнала меня, а как будто и не узнала. Я понимаю, одно противоречит другому; я не могу примирить этих мыслей и в то же время не могу отогнать ни ту ни другую, и не могу дать одной из них перевес над другой. Казалось бы, все так просто: она должна была узнать мое лицо, мой голос, — могло ли быть иначе? А между тем она сказала, что не узнает меня, — значит, она в самом деле меня не узнала, потому что она не умеет лгать. Постой, я, кажется, начинаю понимать! Может быть, он уговорил ее, заставил солгать, принудил силой? Да, загадка разгадана. У нее был такой вид, словно она чуть не умерла от страха... Ну конечно, она действовала по его принуждению! Я ее отыщу, я найду ее: теперь, когда его нет, она ничего не утаит от меня. Она припомнит былые времена, когда мы вместе играли детьми; это смягчит ее сердце, и она не станет больше лукавить, она признает меня. В ней нет вероломства, она всегда была честна и правдива. В те дни она любила меня. Это служит мне порукой: кого любят, того не обманывают.

Он поспешно направился к двери, но в то же мгновение дверь отворилась и вошла леди Эдит. Она была очень бледна, но шла твердой поступью; осанка ее была полна изящества и кроткого достоинства, а лицо по-прежнему было печально.

Майлс кинулся к ней, полный доверия, но она остановила его едва заметным жестом. Она села и попросила его тоже сесть. Этим она заставила его забыть, что они старые друзья, заставила его почувствовать себя чужим, гостем. Это было для него неожиданностью, и он от удивления так растерялся, что сам готов был усомниться, точно ли он тот, за кого выдает себя. Леди Эдит сказала:

— Сэр, я пришла предостеречь вас. Помешанных, кажется, нельзя убедить в том, что они ошибаются; но их можно уговорить, чтобы они избежали опасности. Я полагаю, вы верите в правдивость своих мечтаний, а значит — вы не преступник; но не говорите о своих заблуждениях здесь, так как это опасно.

Она пристально посмотрела Майлсу в глаза, потом прибавила, подчеркивая слова:

— Это тем более опасно, что вы очень похожи на нашего бедного мальчика, которого уже нет в живых.

— Господи, сударыня, но ведь он и есть я!

— Я искренне верю, что вы это думаете, сэр. Я не сомневаюсь в вашей честности, я только предостерегаю вас. Мой муж — полный хозяин во всей здешней местности, его власть почти безгранична, он может обогатить кого угодно и кого угодно разорить. Если бы вы не были похожи на человека, за которого выдаете себя, он, может быть, позволил бы вам спокойно тешиться вашей мечтой; но, верьте мне, я хорошо его знаю, я знаю, что он сделает: он скажет всем, что вы сумасшедший самозванец, и все будут вторить ему.

Она снова устремила на Майлса пристальный взгляд и прибавила:

— Если бы вы на самом деле были Майлсом Гендоном, и мой муж знал бы это, и знала бы вся округа — обдумайте мои слова и взвесьте их! — вы подверглись бы той же опасности и точно так же не ушли бы от наказания; он отрекся бы от вас и донес бы на вас, и здесь не нашлось бы ни одного человека, у которого хватило бы смелости оказать вам поддержку.

— Этому я вполне верю, — с горечью сказал Майлс. — Если он имеет власть приказывать человеку, который всю жизнь был моим другом, изменить мне и отречься от меня и друг этот его слушается, то тем более ему будут повиноваться те, кто не связан со мной узами преданности и дружбы, кто боится потерять кусок хлеба.

Щеки леди Эдит слегка порозовели, она потупила глаза; но голос ее по-прежнему звучал твердо:

— Я вас предупредила и предупреждаю еще раз: уезжайте отсюда! Иначе этот человек вас погубит. Это тиран, не знающий жалости. Я его раба, я это знаю. Бедный Майлс, и Артур, и мой милый опекун сэр Ричард освободились от него и спокойны, — лучше бы вам быть с ними, чем остаться здесь, в когтях этого злодея. Ваши притязания — посягательство на его титул и богатство; вы напали на него в его собственном доме, и вы погибли, если останетесь тут. Уходите! Не медлите! Если вам нужны деньги, прошу вас, возьмите этот кошелек и подкупите слуг, чтобы они пропустили вас. Послушайте меня, несчастный, и бегите, пока есть время.

Майлс отстранил рукою протянутый ему кошелек и встал.

— Исполните одну мою просьбу, — сказал он. — Посмотрите мне прямо в глаза, я хочу видеть, вынесете ли вы мой взгляд. Так. Теперь отвечайте мне: кто я? Майлс Гендон?

— Нет. Я вас не знаю.

— Поклянитесь!

Ответ прозвучал тихо, но отчетливо:

— Клянусь!

— Невероятно!

— Бегите! Зачем вы теряете драгоценное время? Бегите, спасайтесь!

В эту минуту в комнату ворвались солдаты, и началась отчаянная борьба; но Гендона скоро одолели и потащили прочь. Король тоже был схвачен; обоих связали и повели в тюрьму.

27. В тюрьме

Все камеры были переполнены, и двух друзей приковали на цепь в большой комнате, где помещались обыкновенно мелкие преступники. Они были не одиноки: здесь же находилось еще около двадцати скованных узников — молодых и старых,

мужчин и женщин, — буйная и неприглядная орава. Король горько жаловался на оскорбление его королевского достоинства, но Гендон был угрюм и молчалив: он был слишком потрясен. Он, блудный сын, вернулся домой, воображая, что все с ума сойдут от счастья, увидев его; и вдруг вместо радости — тюрьма. Случившееся было так не похоже на его ожидания, что он растерялся; он не знал даже, как смотреть на свое положение: считать ли его трагическим, или просто забавным. Он чувствовал себя, как человек, который вышел полюбоваться радугой и вместо того был сражен молнией.

Но мало-помалу его спутанные мысли пришли в порядок, и тогда он стал размышлять об Эдит. Он обдумывал ее поведение, рассматривал его со всех сторон, но не мог придумать удовлетворительного объяснения. Узнала она его или не узнала? Этот трудный вопрос долго занимал его ум; в конце концов он пришел к убеждению, что она его узнала и отреклась от него из корыстных побуждений. Теперь он готов был осыпать ее проклятиями; но ее имя было так долго для него священным, что он не мог заставить себя оскорбить ее.

Закутавшись в тюремные одеяла, изорванные и грязные, Гендон и король провели тревожную ночь. За взятку тюремщик добыл водки для некоторых арестантов, и, конечно, это кончилось дракой, бранью, непристойными песнями. После полуночи один из арестантов напал на женщину, стал бить ее по голове кандалами, и только подоспевший тюремщик спас ее от смерти: он водворил мир, ударив по голове нападавшего. Тогда драка прекратилась, и те, кто не обращал внимания на стоны и жалобы обоих раненых, могли уснуть.

В течение следующей недели дни и ночи проходили с томительным однообразием: днем появлялись люди (их лица были более или менее знакомы Гендону), чтобы взглянуть на «самозванца», отречься от него и надругаться над ним; а по ночам повторялись попойки и драки. Однако под конец кое-что изменилось. Однажды тюремщик ввел в камеру какого-то старика и сказал ему:

— Преступник в этой комнате. Осмотри всех своими старыми глазами. Быть может, ты узнаешь его.

Гендон поднял глаза и в первый раз за все время пребывания в тюрьме обрадовался.

Он сказал себе: «Это Блек Эндрюс. Он всю жизнь служил семье моего отца; он добрый, честный человек, сердце у него хорошее. Но теперь честных людей совсем не

осталось, все стали лжецы. Этот человек узнает меня и отречется от меня, как остальные».

Старик обвел взглядом комнату, посмотрел в лицо каждого узника и, наконец, сказал:

— Я не вижу здесь никого, кроме низких негодяев, уличного сброда. Который он?

Тюремщик засмеялся.

— Вот! — сказал он. — Вглядись хорошенько в этого большого зверя и скажи мне, что ты о нем думаешь.

Старик подошел, долго и пристально смотрел на Гендона, потом покачал головой и сказал:

— Нет, это не Гендон и никогда Гендоном не был!

— Правильно! Твои старые глаза еще хорошо видят. Будь я на месте сэра Гью, я взял бы этого паршивого пса и... — Тюремщик встал на носки, как бы затягивая воображаемую петлю, и захрипел, словно задыхаясь.

Старик злобно проговорил:

— Пусть благодарит бога, если с ним не обойдутся еще хуже. Попадись мне в руки этот негодяй, я бы изжарил его живьем!

Тюремщик захохотал злорадным смехом гиены и сказал:

— Поболтай-ка с ним, старик! Все с ним болтают. Это тебя позабавит.

С этими словами он повернулся и ушел.

Старик упал на колени и зашептал:

— Слава богу, ты вернулся, наконец, мой добрый господин! Я думал, что ты уже семь лет тому назад умер, а ты жив! Я узнал тебя с первого взгляда; трудно мне было притворяться и лгать, будто я не вижу тут никого, кроме мелких воров и мошенников. Я стар и беден, сэр Майлс, но скажи одно слово — и я пойду и провозглашу правду, хотя бы меня удавили за это.

— Нет, — сказал Гендон, — не надо. Ты только погубишь себя, а мне не сможешь. Но все-таки благодарю тебя: ты хоть отчасти возвратил мне мою утраченную веру в род человеческий.

Старый слуга был очень полезен королю и Гендону: он заходил по нескольку раз в день, будто бы поглумиться над обманщиком, и всегда приносил что-нибудь вкусное, чтобы хоть немного скрасить убогую тюремную еду; кроме того, он сообщал текущие новости. Лакомства Гендон приберегал для короля: без них его величество, пожалуй, не выжил бы, потому что был не в состоянии есть грубую, отвратительную пищу, приносимую тюремщиком. Чтобы не вызвать подозрений, Эндрюс принужден был приходить на короткое время, но каждый раз он ухитрялся сообщить что-нибудь новое — шепотом, чтобы его слышал только Гендон; вслух же он лишь ругался.

Так мало-помалу Майлс узнал историю своей семьи. Артур умер шесть лет тому назад. Эта утрата и отсутствие вестей о Майлсе сильно подорвали здоровье его отца. Ожидая скорой смерти, старик хотел непременно женить Гью на Эдит; но та все оттягивала свадьбу, надеясь на возвращение Майлса. Тут-то и пришло известие о том, что Майлс умер; этот удар уложил в постель сэра Ричарда; старик решил, что конец его близок, и стал торопить со свадьбой. Гью, конечно, поддерживал его. Эдит выпросила еще месяц отсрочки, потом другой и, наконец, третий. Их обвенчали у смертного одра сэра Ричарда. Брак оказался не из счастливых. Ходили слухи, что вскоре после свадьбы молодая нашла в бумагах мужа несколько черновиков рокового письма и обвинила его в гнусном подлоге, который ускорил их брак и смерть сэра Ричарда. Рассказы о жестоком обращении с леди Эдит и слугами переходили из уст в уста; после смерти отца сэр Гью сбросил маску и стал безжалостным деспотом для всех, кто жил в его владениях и сколько-нибудь зависел от него.

Один из рассказов Эндрюса живо заинтересовал короля:

— Ходит слух, что король помешан. Но только, ради бога, не говорите, что слышали это от меня, потому что об этом запрещено говорить под страхом смертной казни.

Его величество грозно взглянул на старика и сказал:

— Король не помешан, добрый человек, и лучше бы тебе заниматься своими делами, чем передавать мятежные слухи.

— Что он говорит, этот мальчик? — спросил Эндрюс, пораженный таким резким и неожиданным нападением.

Гендон сделал ему знак, и старик не стал больше расспрашивать, а продолжал свой рассказ:

— Покойного короля будут хоронить в Виндзоре через два дня, шестнадцатого, а двадцатого новый будет короноваться в Вестминстере.

— Мне кажется, надо сначала найти его... — пробормотал король; потом убежденно прибавил: — Ну, об этом они позаботятся, и я тоже.

— Объясни мне... — начал старик и запнулся, увидав знаки, которые делал ему Гендон. Он снова принялся болтать:

— Сэр Гью тоже едет на коронацию и много ждет от нее. Он надеется вернуться домой пэрром, потому что он в большой милости у лорда-протектора.

— Какого лорда-протектора? — спросил король.

— Его милости герцога Сомерсетского.

— Какого герцога Сомерсетского?

— Как какого? У нас только один — Сеймур, граф Гертфорд.

Король сердито спросил:

— С каких это пор он герцог и лорд-протектор?

— С последнего дня января.

— Скажи, пожалуйста, кто его возвел в это звание?

— Он сам и верховный совет с помощью короля.

Его величество вздрогнул, как ужаленный.

— Короля? — вскрикнул он. — Какого короля, добрый человек?

— Какого короля? (Господи помилуй, что это такое с мальчиком?) На этот вопрос ответить нетрудно: ведь король-то у нас только один — его величество, августейший монарх, король Эдуард Шестой, храни его бог! Да! Молоденький у нас

король, совсем мальчик, а какой добрый и ласковый! Не знаю, сумасшедший он или нет, — говорят, он поправляется с каждым днем, — но все в один голос хвалят его, все благословляют его и молят бога продлить дни его царствования, потому что он начал с доброго дела — помиловал герцога Норфолка, а теперь хочет отменить наиболее жестокие из законов, под игом которых страдает народ.

Услышав эти вести, король онемел от изумления и так углубился в свои мрачные думы, что не слышал больше, о чем рассказывал старик. Он спрашивал себя: неужели этот король — тот самый маленький нищий, которого он оставил тогда во дворце переодетым в свое платье? Это казалось ему невозможным: ведь если бы тот мальчик вздумал разыграть из себя принца Уэльского, речь и манеры тотчас выдали бы его, он был бы изгнан из дворца и все стали бы разыскивать настоящего принца. Неужели на его место посадили какого-нибудь отпрыска знатного рода? Нет, его дядя не допустил бы этого, — он всемогущ и мог бы расстроить — и наверное расстроил бы — такой заговор. Размышления короля не привели ни к чему; чем усерднее старался он разгадать эту тайну, тем больше она его смущала, чем упорнее он ломал себе голову над ней, тем сильнее болела у него голова и тем хуже он спал. Его нетерпеливое желание попасть в Лондон росло с каждым часом, и заключение становилось почти нестерпимым.

Гендон, как ни старался, не мог утешить короля; это лучше удалось двум женщинам, прикованным недалеке от него. Их краткие увещания возвратили мир его душе и научили его терпению. Он был им очень благодарен, искренне полюбил их и радовался тому, что они так ласковы с ним. Он спросил, за что их посадили в тюрьму, и женщины ответили: за то, что они баптистки. Король улыбнулся и спросил:

— Разве это такое преступление, за которое сажают в тюрьму? Вы огорчили меня: я, значит, скоро с вами расстанусь, так как вас не будут долго держать из-за таких пустяков.

Женщины ничего не ответили, но лица их встревожили его. Он торопливо сказал:

— Вы не отвечаете? Будьте добры, скажите мне, — вам не грозит тяжелое наказание? Пожалуйста, скажите мне, что вам ничего не грозит!

Женщины попытались переменить разговор, но король уже не мог успокоиться и продолжал спрашивать:

— Неужели вас будут бить плетьюми? Нет, нет! Они не могут быть так жестоки. Скажите, что вас не тронут! Ведь не тронут? Не тронут, правда?

Женщины, смущенные, измученные горем, не могли, однако, уклониться от ответа, и одна из них сказала голосом, прерывающимся от волнения:

— О добрая душа, твое участие раздирает нам сердце! Помоги нам, боже, перенести наше...

— Это признание!.. — перебил ее король. — Значит, эти жестокосердые злодеи будут тебя бить плетьюми! О, не плачь! Я не могу видеть твоих слез. Не теряй мужества: я во-время верну себе свои права, чтобы избавить тебя от этого унижения, вот увидишь!

Когда король проснулся утром, женщин уже не было.

— Они спасены! — радостно воскликнул он и с грустью прибавил: — Но горе мне, они так утешали меня!

Каждая из женщин, уходя, приколола к его платью на память обрывок ленты. Король сказал, что навсегда сохранит этот подарок и скоро разыщет своих приятельниц, чтобы взять их под свою защиту.

Как раз в эту минуту вошел тюремщик со своими помощниками и велел всех заключенных вывести на тюремный двор. Король был в восторге: такое счастье, наконец, увидеть голубое небо и подышать свежим воздухом! Он волновался и сердился на медлительность сторожей, но, наконец, пришел и его черед. Его отвязали от железного кольца у стены и велели ему вместе с Гендоном следовать за другими.

Квадратный двор был вымощен каменными плитами. Узники прошли под большой каменной аркой и выстроились в шеренгу, спиной к стене. Перед ними была протянута веревка; по бокам стояла стража.

Утро было холодное, пасмурное; ночью выпал снежок, огромный двор был весь белый и от этой белизны казался еще более унылым. Временами зимний ветер врывался во двор и взметал струйки снега.

Посредине двора стояли две женщины, прикованные к столбам. Король с первого взгляда узнал в них своих приятельниц. Он содрогнулся и сказал себе:

«Увы, я ошибся, их не выпустили на свободу. Подумать только, что такие хорошие, добрые женщины должны отведать кнута! В Англии! Не в языческой стране, а в христианской Англии! Их будут бить плетью, а я, кого они утешали и с кем были так ласковы, должен смотреть на эту великую несправедливость. Это странно, так странно! Я, источник власти в этом обширном государстве, бессилён помочь им. Но берегитесь, злодеи! Настанет день, когда я за все потребую ответа. За каждый удар, который вы нанесете сейчас, вы получите по сто ударов».

Широкие ворота распахнулись, и ворвалась толпа горожан. Они окружили женщин и заслонили их от короля. Во двор вошел священник, протолкался сквозь толпу и тоже скрылся из вида. Король услышал какие-то вопросы и ответы, но ни слова не мог разобрать. Затем начались приготовления. Стража забегала, засуетилась, то исчезая в толпе, то вновь появляясь; толпа мало-помалу смолкла, и водворилась глубокая тишина.

Вдруг, по команде, толпа расступилась, и король увидел зрелище, от которого кровь застыла в его жилах. Вокруг женщин были наложены кучи хвороста и поленьев, и какой-то человек, стоя на коленях, разжигал костер!

Женщины стояли, опустив голову на грудь и закрыв лицо руками; сучья уже потрескивали, желтые огоньки уже ползли кверху, и клубы голубого дыма стлались по ветру. Священник поднял руки к небу и начал читать молитву. Как раз в эту минуту в ворота вбежали две молоденькие девушки и с пронзительными воплями бросились к женщинам на костре. Стража сразу схватила их. Одну держали крепко, но другая вырвалась; она кричала, что хочет умереть вместе с матерью; и, прежде чем ее успели остановить, она уже снова обхватила руками шею матери. Ее опять оттащили, платье на ней горело. Двое или трое держали ее; пылающий край платья оторвали и бросили в сторону; а девушка все билась, и вырывалась, и кричала, что теперь она останется одна на целом свете, и умоляла позволить ей умереть вместе с матерью. Обе девушки не переставали громко рыдать и рваться из рук сторожей; но вдруг раздирающий душу крик смертной муки заглушил все их вопли. Король отвел глаза от рыдающих девушек, посмотрел на костер, потом отвернулся, прижал побелевшее лицо к стене и уже не смотрел больше. Он говорил себе: «То, что я видел здесь, никогда не изгладится из моей памяти; я буду помнить это все дни моей жизни, а по ночам я буду видеть это во сне до самой смерти. Лучше бы я был слепым».

Гендон наблюдал за королем и с удовлетворением говорил себе: «Он заметно поправляется; он изменился, стал мягче. Прежде он, наверное, обрушился бы на тюремщиков, стал бы бушевать, кричать, что он король, требовать, чтобы женщин освободили. Он скоро забудет свой бред, и его бедная голова станет опять здорова. Дай бог, чтобы скорее!»

В тот же день в тюрьму привезли на ночь несколько арестантов, которым предстояло на следующее утро отправиться в разные города, чтобы понести кару за свои преступления. Король долго беседовал с ними, — он с самого начала решил расспрашивать узников, чтобы подготовиться к своему будущему царствованию. Повесть их страданий терзала его сердце. В числе заключенных была бедная полоумная женщина, укравшая около двух ярдов сукна у ткача; ее за это приговорили к виселице. Другой арестант прежде обвинялся в том, что он украл лошадь; против него не было никаких улик, и он уже избавился было от петли; но не успели его выпустить, как опять арестовали за то, что он убил оленя в королевском парке; на этот раз вина его была доказана, и его ждала веревка. Больше всего расстроил и огорчил короля рассказ одного подмастерья; этот юноша сообщил, что он однажды вечером нашел сокола, улетевшего от своего хозяина, и принес его домой, полагая, что имеет на это право. Но суд обвинил его в краже и приговорил к смертной казни.

Взбешенный такой бесчеловечностью, король умолял Гендона бежать с ним из тюрьмы прямо в Вестминстер, чтобы он мог скорее вернуть себе престол; взойдя на трон, он тотчас же поднимет свой скипетр в защиту этих несчастных и спасет им жизнь.

«Бедный ребенок! — вздыхал Гендон. — Эти горестные рассказы опять свели его с ума. А я-то надеялся, что он скоро поправится».

Среди арестантов был старый законник, человек с суровым лицом и непреклонной волей. Три года тому назад он написал памфлет против лорда-канцлера, обвиняя его в несправедливости; за это его приковали к позорному столбу, отрубили ему уши, исключили из адвокатского сословия, взыскали с него штраф в три тысячи фунтов стерлингов и приговорили к тюремному заключению. Недавно он повторил свой проступок, и теперь ему должны были отрубить остаток ушей, взыскать с него пять тысяч фунтов стерлингов, выжечь ему клейма на обеих щеках и до конца жизни держать его в тюрьме.

— Это почетные рубцы, — говорил он, откидывая назад седые волосы и показывая обрубки ушей.

У короля глаза горели гневом. Он сказал:

— Никто не верит мне, и ты не поверишь. Но все равно, через месяц ты будешь свободен, и самые законы, обесчестившие тебя и позорящие Англию, будут вычеркнуты из государственных актов. Свет плохо устроен: королям следовало бы время от времени на себе испытывать свои законы и учиться милосердию.

28. Жертва

Тем временем Майлс порядком устал от тюрьмы и бездействия. Когда, наконец, наступил день суда, он был очень доволен и говорил себе, что обрадуется всякому приговору, лишь бы только его не осудили на дальнейшее заключение в тюрьме. Но он жестоко ошибся. Он пришел в бешенство, когда его признали «буйным бродягой» и приговорили к унижительному наказанию: он должен был в течение двух часов сидеть в колоде у позорного столба за оскорбление владельца Гендонского замка. Когда он заявил на суде, что он родной брат оскорбленного и законный наследник всех титулов и земель покойного сэра Ричарда, к его словам отнеслись так презрительно, что даже не сочли их достойными рассмотрения.

На пути к позорному столбу он бушевал и грозил, но это не помогало; полицейские грубо волокли его да еще по временам награждали тумаками за строптивость.

Король не мог пробраться сквозь толпу. Он шел позади, далеко от своего друга и слуги. Самого короля тоже чуть было не приговорили к позорному столбу за дружбу с такой подозрительной личностью, но, ввиду его молодости, сделали ему надлежащее внушение и отпустили. Когда толпа, наконец, остановилась, он заметался, стараясь пробраться вперед; и после долгих трудов это ему удалось. У позорного столба, осыпавый насмешками грубой черни, сидел несчастный рыцарь — личный телохранитель короля Англии! Эдуард на суде слышал приговор, но не вполне понял его значение. Гнев мальчика рос по мере того, как он начинал понимать всю глубину этого нового оскорбления, нанесенного его королевскому сану; он пришел в бешенство, когда увидел, как яйцо, пронесаясь в воздухе, разбилось о щеку Гендона, и услышал гогот толпы. Не помня себя от гнева, он подскочил к столбу и набросился на начальника:

— Стыдись! — крикнул он. — Это мой слуга. Выпусти его сейчас же! Я...

— Замолчи! — в ужасе воскликнул Гендон. — Ты погубишь себя!.. Не обращай на него внимания, начальник, он сумасшедший!

— Успокойся, добрый человек, я и не думаю обращать на него внимания; но я не прочь проучить его немного.

Полицейский обернулся к своему подчиненному и сказал:

— Хлестни этого дурачка раза два плетью, научи его вежливости.

— Всыпь ему полдюжины, — посоветовал сэр Гью, подъехавший в эту минуту посмотреть на расправу.

Короля схватили. Он даже не противился, так он был ошеломлен мыслью о чудовищном оскорблении, угрожавшем его священной особе. На страницах истории уже записан рассказ о наказании кнутом одного из английских королей, — Эдуарду нестерпимо было думать, что он повторит эту позорную страницу. Но делать было нечего, и помощи ждать было неоткуда: приходилось или снести наказание, или молить об отмене его. Выбор трудный: перенести удары король сможет, но унизиться до мольбы он не в силах.

Однако Майлс Гендон выручил его.

— Отпустите ребенка! — взмолился он. — Бессердечные псы, разве вы не видите, какой он маленький и хрупкий? Отпустите его, я беру его плети на себя.

— Прекрасная мысль! — воскликнул сэр Гью, и его лицо искривилось довольной усмешкой. — Отпустите попрошайку и высыпьте дюжину этому молодцу, да смотрите — полную дюжину!

Король хотел было спорить, но сэр Гью сразу усмирил его:

— Говори, говори, не стесняйся! — сказал он. — Но помни, что за каждое твое слово ему прибавят еще шесть ударов.

Гендона вынули из колоды и обнажили ему спину; когда плеть заходила по ней, бедный маленький король отвернулся и уже не удерживал слез, катившихся по его лицу.

«Доброе, смелое сердце! — говорил он себе. — Это доказательство преданности никогда не изгладится из моей памяти. Я не забуду... Им тоже придется вспомнить!» — прибавил он гневно.

Великодушие Гендона все росло в его глазах, а вместе с тем росла и его благодарность к нему. Он сказал себе: «Кто спасает своего государя от ран и смерти, оказывает ему великую услугу. Он спас меня от смерти. Но это ничто, ничто в сравнении с этим подвигом! Он спас своего государя от позора!»

Гендон переносил удары без крика, без стона — стойко, как солдат. Эта стойкость, а также то, что он взял на себя плети, предназначенные мальчику, невольно вызвали уважение даже в грубой и низкой черни, собравшейся поглазеть на любопытное зрелище; насмешки смолкли, и ничего не было слышно, кроме ударов бича. Когда Гендона снова посадили в колоду, на площади, которую еще недавно наполнял оскорбительный шум, царило безмолвие. Король тихонько подошел к Гендону и сказал ему на ухо:

— Не во власти королей отблагородить тебя, добрая, великая душа, так как тот, кто выше королей, уже создал тебя благородным; но король может возвеличить тебя перед людьми.

Он поднял плеть, валявшуюся на земле, слегка коснулся ею окровавленных плеч Гендона и шепнул:

— Эдуард, король Англии, жалует тебя титулом графа.

Гендон был тронут, слезы потекли по его щекам, но в то же время он так живо чувствовал мрачный юмор своего положения, что едва мог удержаться от улыбки. Вознестись сразу, раздетым и окровавленным, от позорного столба на недостижимую высоту графского достоинства — что может быть смешнее!

«Как мне везет! — говорил он себе. — Призрачный рыцарь царства Снов и Теней превратился теперь в призрачного графа — головокружительный взлет, особенно для бесперых крыльев! Если так будет продолжаться дальше, меня скоро разукрасят, как майский шест, мишурными украшениями и призрачными почестями; но хоть они сами по себе и не имеют цены, я буду ценить в них любовь того, кто дарит меня ими. Лучше эти бедные, смешные почести, которыми меня осыпают неожиданно и непрошенно

чистою рукою и от чистого сердца, чем настоящие, покупаемые унижением у завистливых и корыстных властей».

Грозный сэр Гью повернул коня. Живая стена безмолвно расступилась перед ним и так же безмолвно сомкнулась. По-прежнему было тихо, никто не решался ни слова произнести в защиту или в похвалу осужденному; но уже то, что не было слышно ни одной насмешки, само по себе служило данью уважения его мужеству. Запоздалый зритель, не присутствовавший при том, что происходило раньше, и вздумавший позубоскалить над осужденным и запустить в него дохлой кошкой, был сразу сбит с ног и вышвырнут вон; а затем снова наступила та же глубокая тишина.

29. В Лондон

Отсидев положенное время у позорного столба, Гендон был освобожден и получил приказ выехать из этого округа и никогда больше не возвращаться в него. Ему вернули его шпагу, а также его мула и ослика. Он сел и поехал в сопровождении короля; толпа со спокойной почтительностью расступилась перед ними и, как только они уехали, разошлась.

Гендон скоро погрузился в свои мысли. Ему нужно было многое обдумать. Что ему делать? Куда направиться? Надо непременно отыскать влиятельного покровителя, иначе придется отказаться от наследства и позорно признать себя самозванцем. Но где же можно рассчитывать найти такого влиятельного покровителя? Вот вопрос! У него мелькнула в голове мысль, которая мало-помалу превратилась в надежду — очень слабую, но все же такую, о которой стоило подумать за неимением другой. Рыцарь вспомнил, что ему говорил старый Эндрюс о доброте юного короля и его великодушном заступничестве за обиженных и несчастных. Не попытаться ли проникнуть к нему и попросить у него справедливости? Да, но разве такого бедняка допустят к августейшей особе монарха? Ну да все равно, пока нечего тужить; еще будет время об этом подумать. Гендон был старый солдат, находчивый и изобретательный; без сомнения, когда дойдет до дела, он придумает средство. А теперь надо ехать в столицу. Быть может, за него вступится старый друг его отца, сэр Гэмфри Марло, добрый старый сэр Гэмфри — главный заведующий кухней покойного короля, или конюшнями, или чем-то в этом роде, — Майлс не мог с точностью припомнить, чем именно.

Теперь, когда нужно было сосредоточить все свои силы, когда явилась определенная цель, уныние, омрачавшее его дух, рассеялось. Он поднял голову и огляделся вокруг. Он даже удивился, как много они проехали, — деревня осталась далеко позади.

Король трусил за ним на осле, повесив голову; он тоже был углублен в свои мысли и планы. Грустное предчувствие омрачило только что народившуюся радость Гендона; захочет ли мальчик вернуться в город, где всю свою недолгую жизнь он не знал ничего, кроме голода, обид и побоев? Надо спросить его, — все равно этого не избежать. Гендон придержал мула и крикнул:

— Я позабыл спросить тебя, куда ехать. Приказывай, государь!

— В Лондон!

Гендон двинулся дальше, очень довольный, но удивленный ответом.

Всю дорогу они ехали без всяких приключений. Но под конец без приключения все-таки не обошлось. Около десяти часов вечера девятнадцатого февраля они въехали на Лондонский мост и очутились в гуще воющей, горланиющей, гогочущей толпы; красные, развеселые от пива лица блестели при свете множества факелов. Как раз в ту минуту, когда путешественники въезжали в ворота перед мостом, сверху сорвалась разложившаяся голова какого-то бывшего герцога или другого вельможи и, ударившись о локоть Гендона, отскочила в толпу. Вот как недолговечны дела рук человеческих: прошло всего три недели со дня смерти доброго короля Генриха, не прошло и трех суток со дня его похорон, а благородные украшения, которые он так старательно выбирал для своего великолепного моста между первыми лицами в государстве, уже начали падать... Какой-то горожанин, споткнувшись об упавшую голову, ткнулся своей головой в спину стоявшего впереди. Тот обернулся, свалил с ног кулаком первого подвернувшегося под руку соседа и сам полетел, сваленный с ног товарищем упавшего.

Время для драки было самое подходящее. Завтра начиналась коронация, и все уже были полны спиртным и патриотизмом; через пять минут драка заняла уже немалое пространство; через десять или двенадцать она занимала уже не меньше акра и превратилась в побоище. Гендона оттеснили от короля, а оба они затерялись в шумном водовороте ревуших человеческих скопищ.

Здесь мы оставим их.

30. Успехи Тома

Пока настоящий король бродил по стране полуголый, полуголодный, то терпя насмешки и побои от бродяг, то сидя в тюрьме с ворами и убийцами, причем все считали его сумасшедшим и самозванцем, — мнимый король Том Кенти вел совсем иную жизнь.

Когда мы видели его в последний раз, он только что начинал находить привлекательность в королевской власти. Королевское звание все больше нравилось ему, и, наконец, вся жизнь его стала радостью. Он перестал бояться, его опасения понемногу рассеялись, чувство неловкости прошло, он стал держать себя спокойно и непринужденно. Как руду из шахты, добывал он все нужные сведения от мальчика для порки.

Когда ему хотелось играть или болтать, он вызывал к себе леди Элизабет и леди Джэн Грей, а затем отпускал их с таким видом, как будто для него это дело обычное. Он уже не смущался тем, что принцессы целовали ему руку на прощанье.

Теперь ему нравилось, что его с такими церемониями укладывают спать на ночь; ему нравился сложный и торжественный обряд утреннего одевания. Он с гордым удовольствием шествовал к обеденному столу в сопровождении блестящей свиты сановников и телохранителей; этой свитой он так гордился, что даже приказал удвоить ее, и теперь у него было сто телохранителей. Он любил прислушиваться к звукам труб, разносившимся по длинным коридорам, и к далеким голосам, кричавшим: «Дорогу королю!»

Он научился даже находить удовольствие в заседаниях совета в тронном зале и притворяться, будто он не только повторяет слова, которые шепчет ему лорд-протектор. Он любил принимать величавых, окруженных пышной свитой послов из чужих земель и выслушивать любезные приветствия от прославленных монархов, называвших его «братом». О, счастливый Том Кенти со Двора Отбросов!

Он любил свои роскошные наряды и заказывал себе новые. Он нашел, что четырехсот слуг недостаточно для его величия, и утроил их число. Лесть придворных звучала для его слуха сладкой музыкой. Он остался добрым и кротким, стойким защитником угнетенных и вел непрестанную войну с несправедливыми законами; но

при случае, почувствовав себя оскорбленным, он умел теперь обернуться к какому-нибудь графу или даже герцогу и подарить его таким взглядом, от которого того кидало в дрожь. Однажды, когда его царственная «сестра», злая святоша леди Мэри, принялась было доказывать ему, что он поступает неразумно, милуя стольких людей, которые иначе были бы брошены в тюрьму, повешены или сожжены, и напомнила ему, что при их августейшем покойном родителе в тюрьмах иногда содержалось одновременно до шестидесяти тысяч заключенных и что за время своего мудрого царствования он отправил на тот свет рукою палача семьдесят две тысячи воров и разбойников, — мальчик, полный благородного негодования, велел ей идти к себе и молиться богу, чтобы он вынул камень из ее груди и вложил в нее человеческое сердце.

Но неужели Тома Кенти никогда не смущало исчезновение бедного маленького законного наследника престола, который обошелся с ним так ласково и с такой горячностью бросился к дворцовым воротам, чтобы наказать дерзкого часового? Да! Его первые дни и ночи во дворце были отравлены тягостными мыслями об исчезнувшем принце; Том искренне желал его возвращения и восстановления в правах. Но время шло, а принц не возвращался, и новые радостные впечатления все сильнее овладевали душою Тома, мало-помалу изглаживая из нее образ пропавшего принца; под конец этот образ стал являться лишь изредка и то не желанным гостем, — так как при появлении его Тому становилось больно и стыдно.

Несчастную мать свою и сестер он тоже вспоминал все реже. Вначале он грустил о них, тосковал, хотел их увидеть, но потом стал содрогаться при мысли, что когда-нибудь они предстанут перед ним в лохмотьях, в грязи, и выдадут его своими поцелуями, и стащат его долой с трона, назад в грязь, в трущобы, на голод и унижения. В конце концов он почти перестал вспоминать о них и был даже рад этому, так как теперь, когда их скорбные и укоряющие лица вставали перед ним, он казался себе презреннее червя.

В полночь девятнадцатого февраля Тем Кенти спокойно заснул в своей роскошной постели во дворце, охраняемый своими верными вассалами и окруженный всей пышностью королевского сана; счастливый мальчик: на завтра назначено было его торжественное коронование.

В этот самый час настоящий король, Эдуард, голодный, мокрый и грязный, утомленный дорогой, оборванный — одежду его изорвали в драке, — стоял, зажатый в толпе, с глубоким любопытством наблюдавшей за группами рабочих, которые

копошились, как муравьи, возле Вестминстерского аббатства. Они доканчивали последние приготовления к завтрашней коронации.

31. Коронационное шествие

На следующее утро, когда Том Кенти проснулся, воздух был полон глухого гула, вся даль гремела. Для Тома этот гром был музыкой: он означал, что вся Англия дружно напрягает легкие, приветствуя великий день.

Том снова занял первое место в удивительной плавучей процессии на Темзе. По древнему обычаю, королевское шествие должно было пройти через весь Лондон, начиная от Тауэра. И прежде всего Том отправился к Тауэру. Как только он прибыл туда, стены древней крепости словно внезапно треснули в тысяче мест сразу, и из каждой трещины выскочили красный огненный язык и белый клуб дыма. Раздался оглушительный взрыв, в котором потонули радостные крики толпы; от гула дрожала земля; огонь, дым, треск выстрелов повторялись снова и снова с удивительной быстротой, так что через минуту старый Тауэр исчез в густом облаке дыма; только так называемый Белый Тауэр — высокая башня, украшенная флагами, — высился над этим морем дыма, как горная вершина над грядой облаков.

Разодетый Том Кенти на статном боевом скакуне, покрытом богатой попоной, ниспадавшей почти до земли, возглавлял процессию; сейчас же за ним следовал его «дядя», лорд-протектор Сомерсет, на таком же прекрасном коне, королевская гвардия в сияющих латах сопровождала его с обеих сторон; за протектором следовала бесконечная вереница пышно разодетых вельмож, ехавших в сопровождении своих вассалов; за ними — лорд-мэр и отцы города, в алых бархатных мантиях с золотыми цепями на груди; за ними — депутация от всех лондонских гильдий, в богатой одежде, с пестрыми знаменами корпораций. Шествие замыкала древняя Почетная артиллерийская бригада, существовавшая в то время уже около трехсот лет, единственная воинская часть, пользовавшаяся привилегией (сохраненной до наших дней) не подчиняться распоряжениям парламента. Это было блестящее зрелище! Бригада выступала среди многолюдной толпы, приветствовавшей ее на каждом шагу оглушительными криками. Вот как рассказывает об этом летописец:

«При въезде короля в город народ встретил его приветственными криками, молитвами, благожеланиями и другими изъявлениями искренней любви

верноподданных к своему государю; и король, повернувшись к толпе сияющим радостью ликом и милостиво беседуя с теми, кто был ближе к его августейшей особе, с избытком вознаградил свой народ за его верноподданнические чувства. В ответ на крики: „Да здравствует король Англии!“ — „Да хранит господь его величество Эдуарда Шестого!“ — он говорил благосклонно: „Храни господь всех вас! От всего сердца благодарю мой добрый народ!“ И народ с восхищением внимал милостивым ответам своего короля».

На улице Фенчерч какой-то «прелестный ребенок в роскошном наряде» взошел на подмостки и приветствовал его величество такими стихами:

Да здравствует король! — поют тебе сердца.

Да здравствует король! — мы все тебе поем.

Да здравствует король! Да правит без конца!

Храни тебя господь в величии твоём!

Толпа в один голос повторяла слова ребенка.

Том Кенти смотрел на это волнующееся море радостных лиц, и сердце его ликовало; он чувствовал, что если стоит жить на свете, так только для того, чтобы быть королем и любимцем народа. Вдруг он увидел вдали двух маленьких оборванцев, его бывших товарищей по Двору Отбросов (один из них занимал должность лорда-адмирала при его потешном дворе, а другой — первого лорда опочивальни), и еще больше возгордился. О, если бы они могли узнать его теперь! Как несказанно счастлив был бы он, если бы они узнали его, если бы увидели, что шутовской король трущоб и задворков стал настоящим королем, что ему прислуживают герцоги и принцы и у ног его весь английский народ! Но он должен был отказать себе в этом удовольствии, он должен был подавить свое желание, потому что такая встреча обошлась бы ему слишком дорого. И Том отвернулся, а мальчики продолжали прыгать и кричать, не подозревая, кому они посылают свои приветствия.

— Милостыни! Милостыни! — кричал народ. И Том бросал в толпу пригоршни новеньких блестящих монет. Летописец рассказывает: «На верхнем конце улицы Грэсчерч, перед харчевней „Орел“, город соорудил великолепную арку, под которой тянулись подмостки с одной стороны улицы до другой. На этих подмостках были выставлены изображения ближайших предков короля. Там сидела Елизавета Йоркская

посредине большой белой розы, лепестки которой свивались вокруг нее вычурными фестонами; рядом с ней, в красной розе, сидел Генрих VII; руки царственной четы были соединены, на пальцах красовались выставленные напоказ обручальные кольца. От белой и алой розы тянулся стебель, достигавший вторых подмостков, где Генрих VIII выходил из раскрытой ало-белой розы вместе с Джэн Сеймур, матерью нового короля. От этой пары опять-таки тянулся стебель к третьим подмосткам, где находилось изображение самого Эдуарда VI на троне, во всем его царственном величии. Все подмостки были увиты гирляндами роз, алых и белых».

Это странное и красивое зрелище привело ликующий народ в такой восторг, что его крики совершенно заглушили слабый голос ребенка, которому поручено было прочесть хвалебные стихи, объясняющие значение этой аллегии. Но Том Кенти не жалел об этом: верноподданнический рев толпы был для него слаще всяких стихов, даже самых хороших. Когда Том повернул к толпе свое счастливое юное лицо, народ заметил сходство его с изображением, и снова загремела буря приветствий.

Процессия все подвигалась вперед, проходя под триумфальными арками мимо ярких символических изображений, прославлявших различные добродетели, таланты и заслуги нового короля. «По всей Чипсайд из каждого окна, с каждого карниза свисали знамена и флаги, а также роскошные ковры, дорогие ткани и золотая парча — свидетельство богатств, хранившихся в сундуках; другие улицы были украшены столь же великолепно, и даже еще великолепнее».

— И все эти диковины, все эти чудеса выставлены ради меня, — шептал Том Кенти.

Щеки мнимого короля горели от возбуждения, глаза блестели, он блаженствовал, наслаждался. Вдруг, как раз в то время, когда он поднял руку, чтобы бросить народу пригоршню монет, он увидел в толпе бледное, изумленное лицо и пристальный взгляд, устремленный на него. У Тома потемнело в глазах: он узнал свою мать! Он быстро заслонил глаза рукой, вывернув ее ладонью наружу, — старый произвольный жест, возникший от давно позабытых причин и вошедший в привычку. Еще мгновение — женщина пробилась вперед сквозь толпу, сквозь стражу и очутилась возле него. Она обхватила его ногу, она покрыла ее поцелуями, она зарыдала:

— Дитя мое, любимое дитя! — и подняла к нему лицо, преобразенное радостью и любовью.

Один из телохранителей с бранью потащил ее прочь и сильной рукой отшвырнул назад. Слова: «Женщина, я не знаю тебя!» уже готовы были сорваться с уст Тома, но обида, нанесенная его матери, уязвила его в самое сердце. И когда она обернулась, чтобы в последний раз взглянуть на него, прежде чем толпа скроет его окончательно от ее глаз, у нее было такое скорбное лицо, что Тому стало стыдно. Этот стыд испепелил его гордость и отравил всю радость краденого величия. Все почести показались ему вдруг лишенными всякой цены, они спали с него, как истлевшие лохмотья.

А процессия шла и шла; убранство улиц становилось все роскошнее; приветственные клики раздавались все громче. Но для Тома Кенти всего этого словно и не было. Он ничего не видел и не слышал. Королевская власть потеряла для него прелесть и обаяние; в окружающей пышности ему чудился упрек, угрызения совести терзали его сердце. Он говорил себе: «Хоть бы бог освободил меня из этого плена!», невольно повторяя те же слова, какие беспрестанно твердил в первые дни своего насильственного величия.

Сверкающая процессия все извивалась по кривым улицам древнего города, как бесконечная змея в блестящей чешуе; воздух звенел от приветствий толпы; но король ехал поникнув головой и ничего не видя перед собою, кроме оскорбленного лица своей матери. И в протянутые руки подданных уже не сыпались блестящие монеты.

— Милостыни! Милостыни!

Но он не внимал этим крикам.

— Да здравствует Эдуард, король Англии!

Казалось, вся земля дрожала от этих возгласов, но король не отвечал. До него эти крики доносились как отдаленный прибой, заглушаемый другими звуками, раздававшимися ближе, в его собственной груди, в его собственной совести, — голосом, повторявшим постыдные слова: «Женщина, я не знаю тебя!»

Эти слова звучали в душе короля, как звучит погребальный колокол в душе человека на похоронах близкого друга, которому при его жизни он вероломно изменил.

На каждом повороте его ждали новые почести, новая роскошь, новые чудеса, грохот приветственных выстрелов, ликующие клики толпы; но король ни словом, ни

жестом не отзывался на них, так как, кроме укоряющего голоса в своей собственной безутешной душе, он ничего и не слышал.

Мало-помалу и у зрителей изменились лица и вместо радостных стали озабоченными, и приветственные клики раздавались уже не так громко. Лорд-протектор скоро заметил это и сразу понял причину. Он подскакал к королю, низко пригнулся к нему, обнажив голову, и шепнул:

— Государь, теперь не время мечтать! Народ видит твою поникшую голову, твое отуманенное чело и принимает это за дурное предзнаменование. Послушайся моего совета, дай вновь воссиять твоему королевскому солнцу и озари свой народ его лучами. Подними голову и улыбнись народу.

С этими словами герцог бросил направо и налево по пригоршне монет и вернулся на свое место. Мнимый король машинально исполнил то, о чем его просили. В его улыбке не было души, но только немногие стояли к нему настолько близко, только немногие обладали настолько острым зрением, чтобы заметить это. Он так грациозно и ласково наклонял свою украшенную перьями голову, с такой царственной щедростью сыпал вокруг новенькие блестящие монеты, что тревога народа рассеялась и приветственные клики загремели так же громко, как прежде.

А все же герцогу пришлось еще раз подъехать к королю и постараться образумить его. Он прошептал:

— Великий государь, стряхни с себя эту гибельную грусть, глаза целого мира устремлены на тебя! — и с досадой прибавил: — Чтоб она пропала, эта жалкая нищенка! Это она так расстроила ваше величество!

Разряженный король обратил на герцога потухший взор и сказал беззвучным голосом:

— Это была моя мать!

— Боже мой! — простонал лорд-протектор, отъезжая назад. — Дурное предзнаменование оказалось пророчеством: он снова сошел с ума!

32. День коронации

Вернемся на несколько часов назад и займем место в Вестминстерском аббатстве в четыре часа утра, в памятный день коронации. Мы здесь не одни: хотя на дворе еще ночь, но освещенные факелами хоры уже заполняются людьми; они готовы просидеть шесть-семь часов, лишь бы увидеть зрелище, которое никто не надеется увидеть два раза в жизни, — коронацию короля. Да, Лондон и Вестминстер поднялись на ноги с трех часов ночи, когда грянули первые пушки, и уже целая толпа не именитых, но зажиточных граждан, заплатив деньги за доступ на хоры, теснится у входов, предназначенных для людей их сословия.

Часы тянутся довольно тоскливо. Всякая суматоха мало-помалу стихла, так как хоры уже давно набиты битком. Присядем и мы: у нас довольно времени, чтобы осмотреться и подумать. Со всех сторон, куда ни бросишь взгляд, из полумрака, царящего в соборе, выступают части хоров и балконов, усеянных зрителями; другие же части тех же хоров и балконов скрыты от глаз колоннами и выступами. Нам ясно виден весь огромный северный придел собора — пустой в ожидании избранной публики. Нам виден также большой помост, устланный богатыми тканями. Посредине его, на возвышении, к которому ведут четыре ступени, помещается трон. В сидение трона вделан неотесанный плоский камень — Сконский камень[27], на котором короновались многие поколения шотландских королей; обычай и время настолько освятили его, что теперь он достоин служить и английским королям. И трон и его подножие обтянуты золотой парчой.

Вокруг царит тишина; факелы светят тускло; часы лениво ползут. Но вот, наконец, рассветает; факелы потушены, мягкий свет разливается по огромному зданию. Теперь ясно можно различить все очертания этого благородного храма, но они вырисовываются мягко, как бы во сне, так как солнце слегка подернуто тучами.

В семь часов дремотное однообразие этого ожидания впервые нарушается: с последним ударом в северном приделе появляется первая знатная леди, одетая, как Соломон в его славе; распорядитель в шелку и бархате провожает ее к отведенному для нее месту; другой, такой же разряженный, подобрав длинный шлейф леди, идет за нею и, когда она уселась, укладывает шлейф у нее на коленях. Затем он подставляет ей под ноги скамеечку и кладет неподалеку корону, чтобы леди удобно было взять ее, когда настанет время всем представителям аристократии возложить на себя свои короны.

Супруги пэров появляются одна за Другой, блестящей вереницей, а между ними мелькают нарядные распорядители, усаживая их и устраивая. Теперь внутренность

храма представляет собою довольно оживленное зрелище. Везде жизнь, движение, яркие краски. Немного погодя водворяется снова тишина, супруги и дочери пэров все пришли и все уселись на свои места, — огромный живой цветник, пестрый и, как Млечный путь, сверкающий морозной пылью брильянтов. Тут перед вами все возрасты: старухи, сморщенные, желтые, седые, — они помнят коронацию Ричарда III и его смутные, давно забытые времена; и красивые пожилые дамы; и прелестные молоденькие женщины; есть и хорошенькие нежные девушки с блестящими глазами и свежими щечками, — легко может случиться, что, когда придет великая минута, они даже не сумеют надеть своих усыпанных алмазами коронок: для них это дело новое, и справиться с волнением им будет не легко. Впрочем, нет, — этого не может случиться, ибо у всех этих дам прическа устроена так, чтобы можно было по первому сигналу быстро и безошибочно посадить коронку на надлежащее место.

Мы уже видели, что разодетые леди усыпаны брильянтами, мы уже знаем, что это зрелище прелестно; однако настоящие чудеса еще впереди. Около девяти часов небо внезапно проясняется, и солнечный луч, прорезав полумрак собора, медленно движется вдоль скамеек с нарядными дамами; каждый ряд горит ослепительными разноцветными огнями, и внезапная яркость этого зрелища пронзает нас, как электрический ток! Но вот в полосу света вступает чрезвычайное посольство из какой-то дальней восточной земли, замыкающее шествие других иностранных послов, — и у вас захватывает дыхание, такой блеск оно разливает вокруг себя; посол с головы до ног усыпан драгоценными камнями и при каждом движении сыплет вокруг пляшущие снопы алмазных искр.

Но переведем наш рассказ удобства ради в прошедшее время. Прошел час, два часа, два с половиной; глухой артиллерийский залп возвестил о прибытии короля и процессии; утомленная ожиданием толпа оживилась. Все знали, что придется еще подождать, так как короля нужно облачить и приготовить к торжественной церемонии; а пока ожидание можно будет приятно заполнить разглядыванием пэров королевства, появляющихся во всем их пышном наряде; каждого пэра распорядители с почетом отводили на место и клали возле него его корону. Зрители на хорах с живым любопытством наблюдали за всем: большинство из них впервые видели графов, герцогов и баронов, имена которых не сходили со страниц истории уже в течение пятисот лет. Когда, наконец, все пэры уселись, с хоров открылось столь дивное зрелище, что действительно стоило взглянуть на него, чтобы потом помнить всю жизнь.

Теперь на подмости вступали один за другим епископы в парадном облачении и в митрах и занимали отведенные им места; за ними следовали лорд-протектор и другие важные сановники, а за сановниками — закованные в сталь гвардейцы.

Прошла минута напряженного ожидания, затем по сигналу грянула торжественная музыка, и Том Кенти в длинной мантии из золотой парчи появился в дверях и поднялся на подмости. Вся толпа как один человек встала, и началась церемония коронования.

Все аббатство наполнилось звуками торжественного гимна, и под звуки этого гимна Тома Кенти подвели к трону. Один за другим совершались издревле установленные обряды, величавые и торжественные, и зрители жадно следили за ними; но чем ближе к концу подходила церемония, тем бледнее становился Том Кенти, тем сильнее терзало отчаяние его кающуюся душу.

Наконец наступил последний обряд. Архиепископ Кентерберийский взял с подушки корону Англии и поднял ее над головой дрожавшего всем телом мнимого короля. В тот же миг словно радуга озарила внутренность собора — это все знатные лорды и леди одновременно взяли свои коронки, возложили их себе на голову и замерли.

Глубокая тишина охватила аббатство. В эту незабываемую минуту посредине собора вдруг появилось новое действующее лицо, никем раньше не замеченное. То был мальчик, с непокрытой головой, в рваных башмаках, в грубой плебейской одежде, висевшей лохмотьями. С торжественностью, совсем не подходившей к его грязному платью и жалкой внешности, он поднял руку и крикнул:

— Запрещаю вам возлагать корону Англии на эту преступную голову! Я — король!

В один миг мальчик был схвачен множеством негодующих рук. Но Том Кенти в своем царственном одеянии прыгнул вперед и звонким голосом крикнул:

— Отпустите его и не троньте! Он действительно король!

Паника овладела собравшимися; пораженные, все приподнялись на своих местах и, переглядываясь, рассматривали главных действующих лиц этой странной сцены, словно не понимая, наяву они это видят или во сне. Лорд-протектор был изумлен не меньше других, но скоро очнулся и воскликнул властным голосом:

— Не обращайтесь внимания на слова его величества: им опять овладел недуг. Схватите бродягу!

Его послушались бы, если бы мнимый король не топнул ногой и не крикнул:

— Под страхом смерти запрещаю вам трогать его! Он — король!

Руки отдернулись. Все собрание замерло. Никто не двигался, никто не говорил. Правду сказать, никто и не знал, что делать и что говорить, — так странно и неожиданно было все случившееся. Пока все старались овладеть собою и собраться с мыслями, виновник переполоха подходил все ближе и ближе, с гордой осанкой и поднятым челом, он ни разу не остановился; и, пока все колебались в растерянности, он взошел на подмости. Мнимый король с радостным лицом бросился ему навстречу, упал перед ним на колени и воскликнул:

— О государь! Позволь бедному Тому Кенти первому присягнуть тебе на верность и сказать: возложи на себя свою корону и вступи в свои права!

Суровый взор лорда-протектора остановился на лице пришельца; но тотчас же лицо его смягчилось и суровость сменилась безмерным удивлением. То же удивление выразилось и на лицах других сановников. Они переглянулись и невольно все разом отступили. У каждого мелькнула одна и та же мысль: «Какое поразительное сходство!»

Лорд-протектор подумал минуту, потом выговорил серьезно и почтительно:

— С вашего позволения, сэръ, я желал бы предложить вам несколько вопросов...

— Я отвечу на них, милорд!

Герцог стал спрашивать его о покойном короле, о дворе, о принце, о принцессах. Мальчик отвечал на все правильно и без запинки. Он описал парадные комнаты во дворце, апартаменты покойного короля и покои принца Уэльского.

Это было странно. Это было удивительно. Да, это было необъяснимо, — так утверждали все, кто слышал. Дело принимало благоприятный оборот, и Том Кенти надеялся, что течение уже несет настоящего короля к трону, но лорд-протектор покачал головой и сказал:

— В самом деле, это изумительно, но ведь это не больше того, что может сделать и государь наш король.

Замечание лорда-протектора опечалило Тома Кенти — его все еще называли королем, — и он почувствовал, что теряет надежду.

— Это еще не доказательства, — прибавил лорд-протектор.

Волны оставили Тома Кенти на троне, а настоящего короля уносили в открытое море.

Лорд-протектор подумал, покачал головой, — одна мысль вытеснила все остальные: «И для государства, и для всех нас опасно долго возиться с этой роковой загадкой: это может поселить раздор в народе и подорвать основы королевской власти». Он повернулся и сказал:

— Сэр Томас, арестуйте этого... Нет, погодите!

Лицо его прояснилось, и он ошеломил оборванного кандидата на престол вопросом:

— Где большая государственная печать? Ответ на этот вопрос, и загадка будет разгадана, ибо на этот вопрос может ответить только тот, кто был принцем Уэльским! Вот от какого пустяка зависит судьба трона и династии!

Это была удачная мысль, счастливая мысль. Так подумали все важные сановники, и в их заблестевших взорах выразилось безмолвное одобрение. Да, только настоящий принц мог разрешить до сих пор не разгаданную тайну исчезновения государственной печати. Маленький самозванец хорошо выучил свой урок, но здесь он споткнется, так как даже тот, кто научил его, не может ответить на этот вопрос. Хорошо! Очень хорошо! Теперь мы скоро выйдем из этого странного и опасного положения. Каждый чуть заметно кивал головой и с трудом удерживался от улыбки, предвкушая, как дерзкий мальчик онемееет от смущения в сознании своей вины.

И как же все были удивлены, когда ничего подобного не случилось, — мальчик тотчас же спокойно и твердо сказал:

— В этой загадке нет ничего трудного.

И, даже не спросив позволения, он повернулся и дал приказ с непринужденностью человека, привыкшего повелевать:

— Милорд Сент-Джон, ступай в мой кабинет во дворце, — никто не знает его лучше тебя, — и там, возле самого пола, в левом углу, самом дальнем от двери, выходящей в переднюю, ты найдешь медный гвоздь; нажми шляпку гвоздя — и перед тобой откроется маленький тайничок, о существовании которого даже ты не знаешь, и ни одна живая душа не знает, кроме меня да того верного мастера, который его устраивал для меня. Первое, что тебе попадет на глаза, будет большая государственная печать, — принеси ее сюда!

Все дивились этой речи и еще больше дивились тому, что маленький нищий, не задумываясь, выбрал из всех лордов Сент-Джона и назвал его по имени так просто и спокойно, как будто знал его всю свою жизнь. Вельможа чуть было не кинулся исполнять приказ. Он даже шагнул вперед, но тотчас опомнился, и легкая краска выдала его промах. Том Кенти обернулся к нему и резко сказал:

— Что же ты медлишь? Разве ты не слышал королевского приказа? Ступай!

Лорд Сент-Джон отвесил глубокий поклон; многие заметили, что этот поклон был удивительно осторожен: чтобы как-нибудь не скомпрометировать себя, лорд Сент-Джон не поклонился ни одному из королей в отдельности, но обоим зараз, или, вернее, нейтральному пространству между обоими. И вышел.

В нарядной группе сановников, стоявших на подмостках, началось движение, вначале едва заметное, но непрерывное, словно в калейдоскопе, когда мелкие частицы пестрой фигуры отпадают от одного центра и переходят к другому, образуя новую фигуру. Так и здесь, постепенно, едва заметно, блестящая свита, окружавшая Тома Кенти, переместилась поближе к пришельцу. Том Кенти остался почти один. Прошло несколько минут напряженного ожидания, в течение которых немногие боязливые люди, еще остававшиеся возле Тома Кенти, набрались храбрости и один за другим, шмыгнув в сторону, присоединились к большинству. И теперь Том Кенти, в царской одежде и самоцветных камнях, стоял совсем одинокий, окруженный пустотой.

В дверях собора показался лорд Сент-Джон. Едва его заметили, все разговоры смолкли, и водворилась глубокая тишина, только его шаги глухо отдавались под высокими сводами. Все, затаив дыхание, с напряженным любопытством следили за ним, все глаза были устремлены на него. Он взошел на подмостки, помедлил немного, затем, отвесив низкий поклон Тому Кенти, сказал:

— Государь, печати там нет!

Если бы на улице показался вдруг зачумленный, чернь шарахнулась бы прочь от него не так стремительно, как это сборище побледневших, испуганных царедворцев отхлынуло от жалкого маленького претендента на английский престол. Миг — и он остался совершенно один под перекрестным огнем гневных и презрительных взглядов. Лорд-протектор запальчиво крикнул:

— Выбросьте этого нищего на улицу и прогоните его по всему городу плетьюми! Этот наглец не заслужил ничего лучшего.

Гвардейцы кинулись к мальчику, но Том Кенти властно отстранил их рукой.

— Назад! Кто дотронется до него, ответит головой.

Лорд-протектор пришел в полное недоумение. Он спросил Сент-Джона.

— Хорошо ли вы искали? Впрочем, об этом бесполезно и спрашивать. В высшей степени странно! Когда пропадают мелкие вещи, безделушки, этому не удивляешься. Но каким образом такая объемистая вещь, как английская государственная печать, могла исчезнуть без следа, так, что никто не может найти ее? Такой тяжелый золотой круг...

Том Кенти с заблестевшими глазами подскочил к нему и крикнул:

— Стойте! Какая она была? Круглая? Толстая? На ней были вырезаны буквы и эмблемы? Да? О, теперь я знаю, что такое эта большая печать, из-за которой вы подняли такую кутерьму! Если бы вы мне описали ее раньше, вы бы получили ее три недели тому назад. Я отлично знаю, где она лежит, но не я первый положил ее туда.

— А кто же, государь? — спросил лорд-протектор.

— Тот, кто стоит перед вами, законный король Англии! И он сам скажет вам, где она лежит, — тогда вы поверите, что он знал это с самого начала. Подумай, государь! Потрудись припомнить! Это было последнее, самое последнее, что ты сделал в тот день, прежде чем выбежал из дворца, переодетый в мои лохмотья, чтобы наказать обидевшего меня солдата.

Наступило гробовое молчание — ни звука, ни шепота! Все глаза были устремлены на того, от кого ждали ответа; а он стоял, наклонив голову и наморщив лоб, и рылся в своей памяти, стараясь среди множества не имеющих цены воспоминаний уловить один единственный ускользающий пустяк, зная, что если он поймает этот

пустяк — он будет на троне, если же нет — навсегда останется нищим изгнанником. Проходили мгновения, проходили минуты, мальчик напрягал свою память и молчал. Наконец он глубоко вздохнул, медленно покачал головой и выговорил дрожащими губами, с отчаянием в голосе:

— Я припомнил весь тот день, но что я сделал с печатью, припомнить не могу.

Он помолчал, потом поднял глаза и проговорил с кротким достоинством:

— Милорды и джентльмены, если вы хотите лишить вашего законного государя его престола только оттого, что у него нет этого доказательства, я бессилен помешать вам. Но...

— О государь, какое безумие! — в ужасе воскликнул Том Кенти. — погоди! Подумай! Не сдавайся так скоро! Дело еще не потеряно! Слушай, что я тебе скажу, следи за каждым моим словом! Я вызову в твоей памяти этот день во всех подробностях, каждую мелочь. Мы разговаривали. Я рассказывал тебе о своих сестрах Нэн и Бэт... ну вот, ты это помнишь? И о бабке, и о том, как мы, мальчишки, играем на Дворе Отбросов... Ты и это помнишь? Отлично! Следи только за мной, — ты все припомнишь. Ты дал мне есть и пить и с царственной любезностью отослал придворных, чтобы мне не было стыдно перед ними за свою невоспитанность... Ага, ты и это помнишь!

Том перечислял все подробности одну за другой, и принц кивал головой в знак того, что он припоминает; а сановнику слушали и дивились: все это было так похоже на правду, между тем откуда могла возникнуть эта невозможная дружба между принцем и нищим? Никогда еще никакая толпа не была охвачена таким любопытством и не чувствовала себя столь ошеломленной и растерянной.

— Ради шутки, государь, мы поменялись одеждой. Потом мы стали перед зеркалом, и оказалось, что мы так похожи один на другого, будто и не переодевались совсем, — ты помнишь и это, да? Потом ты заметил, что солдат сильно ушиб мне руку, — смотри, я и до сих пор не могу держать ею перо, так одеревенели мои пальцы. Увидев это, твое высочество вскочил, поклявшись, что ты отомстишь солдату, и побежал к двери. Тебе надо было пройти мимо стола. Эта штука, которую вы называете печатью, лежала на столе, — ты схватил ее, озираясь вокруг, как бы ища, куда ее спрятать, потом увидал...

— Стой! Довольно! Благодарение богу, я вспомнил! — воскликнул взволнованным голосом оборванный претендент на престол. — Иди, мой добрый Сент-Джон: в рукавице миланского панциря, что висит на стене, ты найдешь государственную печать!

— Верно, государь, верно! — воскликнул Том Кенти. — Теперь английская держава — твоя, и тому, кто вздумает оспаривать ее у тебя, лучше бы родиться немым! Спешу, милорд Сент-Джон! Пусть твои ноги превратятся в крылья!

Все собрание было теперь на ногах. Все прямо-таки обезумели от беспокойства, тревоги и жгучего любопытства. Собор гудел, как пчелиный улей. Все сразу заговорили возбужденно и пылко, внизу и на помосте — повсюду. Никто ничего не слышал и не интересовался ничем, кроме того, что кричал ему в ухо сосед или что он кричал в ухо соседу. Время промчалось стремительно. И вот по собору пронесся шепот — на подмостках появился Сент-Джон, в поднятой над головой руке он держал государственную печать. Сразу же грянул крик:

— Да здравствует истинный король!

Минут пять в соборе стон стоял от кликов и грома музыки; вихрь носовых платков реял в воздухе. А тот, к кому относились все эти приветствия, маленький оборванец, — отныне первый человек в Англии, — стоял на виду у всех, посредине подмостков, счастливый и гордый, щеки его пылали румянцем, и могущественнейшие вассалы королевства склоняли перед ним колени.

Затем все встали, и Том Кенти воскликнул:

— Теперь, о государь, возьми назад твое царское одеяние и отдай бедному Тому, слуге твоему, его рубище!

Лорд-протектор отдал приказание:

— Разденьте этого маленького негодяя и бросьте его в Тауэр!

Но король, истинный, новый король, заявил:

— Не позволю! Только благодаря ему я получил обратно свою корону, — и не смейте трогать и обижать его! А ты, милейший дядя, ты, милорд-протектор, неужели ты не питаешь никакой благодарности к этому бедному мальчику? Ведь, как я слышал, он пожаловал тебя в герцоги, — протектор покраснел, — но он, оказывается, не был

настоящим королем, значит чего стоит теперь твой громкий титул? Завтра ты через его посредство будешь ходатайствовать предо мной об утверждении тебя в этом звании, иначе тебе придется распрощаться с твоим герцогством и ты останешься просто графом.

После такой отповеди его светлость герцог Сомерсетский предпочел на время отойти в сторону. Король повернулся к Тому и ласково сказал:

— Мой бедный мальчик, как ты мог вспомнить, куда я спрятал печать, если я и сам не мог вспомнить?

— Ах, государь, это было нетрудно, ибо я не раз употреблял ее в дело.

— Употреблял ее в дело... и не мог сказать, где она находится?

— Да ведь я не знал, что они ее ищут. Они мне не говорили, какая она, ваше величество!

— Что же ты с нею делал?

Щеки Тома густо покраснели; он потупил глаза и молчал.

— Говори, добрый мальчик, не бойся! — успокоил его король. — Что же ты делал с большой государственной печатью Англии?

Том опять запнулся и, наконец, смущенно выговорил:

— Я щелкал ею орехи!

Бедный ребенок! Эти слова были встречены таким взрывом хохота, что он едва устоял на ногах. Но если кто-нибудь сомневался в том, что Том Кенти не был королем Англии, этот ответ рассеял все сомнения.

Тем временем с Тома сняли роскошную мантию и накинули ее на плечи королю. Мантия прикрыла его нищенские лохмотья. После этого прерванная коронация возобновилась. Настоящий король был помазан миром, на голову его возложили корону, а пушечные выстрелы возвестили эту радость городу, и весь Лондон гудел от восторга.

33. Эдуард — король

И до того, как Майлс Гендон попал в буйную толпу, запрудившую Лондонский мост, его наружность была весьма живописна, а когда он вырвался оттуда, она стала еще живописнее. У него и раньше было мало денег, а теперь и совсем ничего не осталось. Воры обчистили его карманы до последнего фартинга.

Но не беда, лишь бы найти мальчика. Как настоящий воин, он никогда не поступал наобум и прежде всего составил план военных действий.

Что мог предпринять мальчик? Куда он мог направиться? Пожалуй, думал Майлс, для него было всего естественнее посетить первым делом то место, где он жил прежде; так поступают все бездомные, покинутые люди, все равно — сумасшедшие они или в здравом уме. Где же он мог прежде жить? Его лохмотья и его близость к грубому бродяге, который, очевидно, хорошо знал его и даже называл сыном, указывали на то, что он жил в одном из беднейших кварталов Лондона. Долго ли придется его искать? Нет, Майлс найдет его легко и быстро. Он будет высматривать не мальчика, а все уличные сборища, большие и малые, и в центре какого-нибудь скопления людей рано или поздно найдет своего маленького друга; чернь, наверное, будет глумиться над ним, так как он, по обыкновению, станет, конечно, провозглашать себя королем. И тогда Майлс Гендон изувечит кого-нибудь из этих грубых людей и уведет своего питомца подальше, утешит, успокоит его ласковым словом и никогда больше не расстанется с ним.

Итак, Майлс отправился на поиски. Час за часом он бродил по грязным улицам и закоулкам, выискивая сборища людей; он находил их на каждом шагу, но мальчика нигде не было. Это крайне удивило его, но он не отчаивался. В своем плане он не находил никаких изъянов; просто военные действия затянулись на более продолжительный срок, чем он рассчитывал.

До рассвета он исходил не одну милю, повстречал множество всяких людей, но в результате только устал и проголодался. Ему очень захотелось спать. Он не прочь был бы позавтракать, но на это было мало надежды — просить милостыню ему не приходило в голову, а заложить шпагу — это все равно, что расстаться с честью. Можно бы продать что-нибудь из одежды, но где сыщешь покупателя на подобную рвань?

В полдень он все еще бродил по улицам, в толпе, которая следовала за королевской процессией; он полагал, что маленького сумасшедшего непременно потянет взглянуть на такое зрелище. Он прошел вслед за процессией весь извилистый путь от Лондона до Вестминстера и до самого аббатства. Он бесконечно долго слонялся

в толпе и, наконец, ничего не добившись, озабоченный, отошел прочь, обдумывая новый, лучший план. Углубившись в свои мысли, он не сразу заметил, что город остался далеко позади и день клонился к вечеру, а выйдя, наконец, из задумчивости, увидел, что находится за городом, недалеко от реки, в живописной местности, где расположены были богатые усадьбы. Здесь не любят таких оборванцев, как он.

Погода стояла теплая; он растянулся на земле возле изгороди, чтобы отдохнуть и подумать. Скоро им овладела дремота; до него донеслись отдаленные глухие звуки пушечных выстрелов; он сказал себе: «Коронация кончилась», и тут же уснул. Перед тем он не отдыхал больше тридцати часов подряд. Проснулся он только на следующее утро.

Он поднялся разбитый, полумертвый от голода, умылся в реке, вдоволь напился воды, чтобы наполнить желудок, и заковылял к Вестминстеру, ругая себя за то, что потерял столько времени даром. Голод внушил ему новый план: он прежде всего попытается добраться до старого сэра Гэмфри Марло и возьмет у него займы несколько шиллингов, а потом... Но пока я этого довольно, потом будет время усовершенствовать и разработать новый план, сначала надо выполнить его первую часть.

Часов в одиннадцать он очутился у дворца и, хотя народа, пышно разодетого, кругом было много, он не остался незамеченным — благодаря своей одежде. Он пристально вглядывался в лицо каждого встречного, выискивая сострадательного человека, который согласился бы доложить о нем старому сэру Гэмфри; о том, чтобы попытаться самому проникнуть во дворец в таком виде, разумеется, не могло быть и речи.

Вдруг мимо него прошел мальчик для порки; увидав Майлса, он вернулся и еще раз прошел мимо, пристально вглядываясь.

«Если это не тот самый бродяга, о котором так беспокоится его величество, то я безмозглый осел... Хотя я, кажется, и всегда был ослом. Все приметы налицо. Не может быть, чтобы премудрый господь создал два таких страшилища сразу. Это было бы опасным перепроизводством чудес, ибо цена на них сильно упала бы. Как бы мне заговорить с ним!..»

Но тут сам Майлс Гендон вывел его из затруднения, потому что обернулся назад, почувствовав, что на него пристально смотрят. Подметив любопытство во взгляде мальчика, он сказал:

— Ты только что вышел из дворца; ты из придворных?

— Да, ваша милость!

— Ты знаешь сэра Гэмфри Марло?

Мальчик вздрогнул, от неожиданности и подумал про себя: «Боже! он спрашивает о моем покойном отце!»

Вслух он ответил:

— Хорошо знаю, ваша милость.

— Он там?

— Да, — сказал мальчик, и про себя прибавил: «в могиле».

— Не будешь ли ты так любезен сообщить ему мое имя и передать, что я желаю сказать ему два слова по секрету.

— Я охотно исполню ваше поручение, любезный сэр.

— В таком случае, скажи, что его дожидается Майлс Гендон, сын сэра Ричарда. Я буду тебе очень благодарен, мой добрый мальчик!

Мальчик был, по-видимому, разочарован. «Король что-то не так называл его, — сказал он себе, — ну да все равно. Это, должно быть, его брат, и я уверен, что он может дать сведения его величеству о том чудаке». Он попросил Майлса подождать немного, пока он принесет ответ. Он ушел, а Гендон остался ждать его в указанном месте, на каменной скамеечке внутри ниши дворцовой стены, где в дурную погоду укрывались часовые. Не успел он усесться, как мимо прошел отряд алебардчиков под командой офицера. Офицер увидел чужого человека, остановил своих людей и велел Гендону выйти из ниши. Тот повиновался и немедленно был арестован как подозрительная личность, шатающаяся около дворца. Дело начинало принимать нехороший оборот. Бедный Майлс хотел было объясниться, но офицер грубо приказал ему молчать и велел своим людям обезоружить и обыскать его.

— Может быть, вам бог поможет найти что-нибудь, — сказал бедный Майлс. — Я много искал и ничего не нашел, хотя мне так нужно было найти.

И действительно, у него ничего не нашли, кроме запечатанного письма. Офицер разорвал конверт, и Майлс улыбнулся, узнав «каракули» своего бедного маленького друга. Это было послание, написанное королем в тот памятный день в Гендонском замке. У офицера лицо пожелтело, когда он прочел английскую часть письма, а Майлс, выслушав ее, побледнел.

— Еще один претендент на престол! — воскликнул офицер. — Они нынче размножаются, как кролики. Схватите этого негодяя и держите его крепко, пока я снесу это драгоценное послание к королю.

«Ну, теперь все мои злоключения кончились, — бормотал Майлс, — ибо я наверняка скоро буду болтаться на веревке. Эта записка мне не пройдет даром. А что станет с моим бедным мальчиком? Увы, это одному богу известно!»

Через некоторое время Майлс увидел быстро возвращавшегося офицера и собрал все свое мужество, решившись встретить неизбежную смерть, как подобает мужчине. Офицер тотчас приказал солдатам освободить пленника и вернуть ему шпагу, затем почтительно поклонился и сказал:

— Прошу вас, сэр, следуйте за мной!

Гендон пошел за ним, говоря себе: «Если бы я не знал, что иду на смерть и что мне поэтому следует поменьше грешить, я бы, кажется, придушил этого мерзавца за его издевательскую любезность».

Они прошли через людный двор к главному подъезду дворца, где офицер с таким же почтительным поклоном сдал Гендона с рук на руки разодетому придворному, который в свою очередь отвесил ему низкий поклон и повел через большой зал, между двумя рядами пышно одетых дворцовых лакеев, которые почтительно кланялись Гендону, а за спиной у него давились от смеха при виде этого величавого чучела. Придворный поднялся с Гендоном по широкой лестнице, заполненной пышно разодетыми джентльменами, и, наконец, ввел его в обширный покой, где была собрана вся английская знать; он провел Майлса вперед, еще раз поклонился, напомнил ему, что надо снять шляпу, и оставил его среди комнаты. Глаза

всех присутствующих устремились на него. Иные сердито нахмурились. Иные улыбались насмешливо.

Майлс Гендон был ошеломлен. Перед ним, всего в каких-нибудь пяти шагах, под пышным балдахинном сидел молодой король; отвернувшись немного в сторону и наклонив голову, он беседовал с какой-то райской птицей в образе человека, — наверное, с каким-нибудь герцогом. Гендон смотрел и думал, что и без того горько умереть во цвете лет, а тут еще подвергают тебя такому унижению. Ему хотелось, чтобы король скорее покончил с приговором, — некоторые из пышных вельмож, стоявших поближе, вели себя уж слишком нахально. В это время король поднял голову, и Гендон увидел его лицо. Увидел — и у него даже дух захватило! Как очарованный, он смотрел, не спуская глаз с этого прекрасного молодого лица, и вдруг воскликнул:

— Господи, вот он и на троне — владыка царства Снов и Теней!

Не отрывая изумленного взгляда от короля, он пробормотал еще что-то невнятное, потом оглядел все вокруг — нарядную толпу, стены роскошного зала — и проговорил:

— Но ведь это же правда! Это не сон, а действительность!

Потом опять взглянул на короля и подумал: «Или это все-таки сон?.. Или он и впрямь повелитель Англии, а не бездомный сумасшедший бродяга, за которого я принимал его? Кто разгадает мне эту загадку?»

Внезапно ему в голову пришла блестящая мысль. Он подошел к стене, взял стул, поставил его посредине зала и сел!

Толпа придворных загудела от гнева; чья-то рука жестко опустилась ему на плечо, чей-то голос воскликнул:

— Грубиян, невежа невоспитанный, как ты смеешь сидеть в присутствии короля!

Шум привлек внимание его величества; он протянул руку и крикнул:

— Оставьте его, не троньте: это его право!

Придворные в недоумении отпрянули. А король продолжал:

— Да будет вам известно, леди, лорды и джентльмены, что это мой верный и любимый слуга, Майлс Гендон, который своим добрым мечом спас своего государя от

ран, а может быть, и от смерти и за это волею короля посвящен в рыцари. Узнайте также, что он оказал королю еще более важную услугу: он избавил своего государя от плетей и позора, приняв их на себя, и за это возведен в звание пэра Англии и графа Кентского, и в награду ему будут пожалованы богатые поместья и деньги, подобающие его высокому званию. Более того, привилегия, которой он сейчас воспользовался, дарована ему королем и останется за ним и его потомками, и все старшие в роде его будут из века в век иметь право сидеть в присутствии английских королей, пока будет существовать престол. Не троньте его!

В зале присутствовали две особы, опоздавшие на коронацию и прибывшие в столицу только сегодня. Всего лишь пять минут находились они в этой зале; они слушали в немом изумлении, переводя взгляд с короля на «воронье пугало» и обратно. То были сэр Гью и леди Эдит. Но новый граф не замечал их. Он все смотрел на короля, как зачарованный, и бормотал:

— Господи, помилуй меня! Так это мой нищий! Так это мой сумасшедший!.. А я-то хотел похвастаться перед ним своим богатством — родовой усадьбой, в которой семьдесят комнат и двадцать семь человек прислуги! Это о нем я думал, что он никогда не знал иной одежды, кроме лохмотьев, иной ласки, кроме пинков и побоев, и иной еды, кроме отбросов! Это его я взял в приемыши и хотел сделать из него человека! Господи, хоть бы мне дали мешок, куда сунуть голову от стыда!

Но потом он вдруг опомнился, упал на колени и, пока король пожимал ему руки, клялся в верности и благодарил за пожалованные ему титулы и поместья. Затем встал и почтительно отошел в сторону; все смотрели на него с любопытством, а многие с завистью.

В это время король увидел сэра Гью и, сверкнув глазами, гневно воскликнул:

— Лишить этого разбойника его ложного титула и украденных им поместий и заключить под стражу впредь до моих распоряжений!

Бывшего сэра Гью увели.

Теперь поднялась суeta в другом конце зала; толпа расступилась, и между двух живых стен прошел Том Кенти, причудливо, но богато одетый и предшествоваемый камер-лакеем. Том приблизился к королю и опустился на одно колено.

— Я узнал, — сказал король, — обо всем, что ты сделал в эти несколько недель, и очень доволен тобою. Ты управлял моим государством с царственной кротостью и милосердием. Ты, кажется, нашел свою мать и сестру? Прекрасно! Мы позаботимся о них. А отца твоего вздернут на виселицу, если ты пожелаешь этого и если позволит закон. Знайте вы все, кто слышит меня, что отныне мальчишки, воспитывающиеся в Христовой обители[28] на королевский счет, будут получать не только телесную, но и умственную и духовную пищу. Этот мальчик будет жить там и займет почетное место среди воспитателей; а так как он был королем, то ему подобает особый почет; заметьте его одежду: она присвоена ему одному, и никто не смеет носить точно такую же. По этой одежде все будут узнавать его и, памятуя, что одно время он был королем, будут оказывать ему подобающие почести. Он находится под особой защитой и покровительством короны, и да будет всем известно, что ему даруется почетный титул королевского воспитанника.

Счастливым и гордым, Том Кенти поднялся с колен и поцеловал руку короля; ему позволено было удалиться. Не теряя времени, он помчался к своей матери, чтобы рассказать ей и сестрам все, что случилось, и поделиться с ними своею радостью.

Заключение

Правосудие и возмездие

Когда все тайны разъяснились, Гью Гендон признался, что жена его отреклась от Майлса по его приказанию. Сначала он угрожал ей, что, если она не отречется от Майлса Гендона, ей придется расстаться с жизнью; она ответила, что не дорожит своею жизнью и останется верной Майлсу; тогда муж сказал, что ее пощадят, но Майлс будет убит! И она дала слово, и сдержала его.

Гью не преследовали за эти угрозы и за присвоение имущества и титула брата, так как Майлс и Эдит не хотели давать показания против него; да и вообще жене запрещено давать показания против мужа. Гью бросил жену и уехал на континент, где вскоре умер, а Майлс, граф Кентский, женился на его вдове. Когда они впервые посетили Гендон-холл, вся округа ликовала и праздновала.

Об отце Тома Кенти так больше и не слыхали.

Король отыскал фермера, которого заклеямили и продали в рабство, заставил его бросить преступную шайку и дал ему возможность жить безбедно.

Он также освободил из тюрьмы старого законника и снял с него штраф. Он пристроил дочерей двух баптисток, которых на его глазах сожгли на костре, и строго наказал того чиновника, который незаслуженно велел избить плетью Майлса Гендона.

Он спас от виселицы подмастерья, который был осужден за то, что поймал заблудившегося сокола; спас женщину, укравшую кусок сукна у ткача; но уже не успел спасти человека, осужденного на смерть за охоту на оленя в королевском парке.

Он оказывал постоянное благоволение судье, сжалившемуся над ним, когда его обвинили в краже поросенка, и с истинным удовольствием видел, как этот судья мало-помалу приобретал всеобщее уважение и сделался известным и почтенным человеком.

До конца дней король любил рассказывать историю своих былых приключений, начиная с той минуты, когда часовой прогнал его от дворцовых ворот, и кончая ночью, когда он искусно вмешался в толпу рабочих, украшавших аббатство, проскользнул в собор, спрятался в гробнице Исповедника[29] и уснул так крепко, что на следующее утро чуть не проспал коронацию. Он говорил, что частые повторения этого драгоценного урока укрепляют его в намерении извлечь из него пользу для своего народа и что, пока жив, он будет рассказывать эту историю, оживляя в своей памяти скорбные впечатления и укрепляя в своем сердце ростки сострадания.

Майлс Гендон и Том Кенти во все его краткое царствование оставались его любимцами и искренне оплакивали его, когда он умер. Добрый граф Кентский был достаточно благоразумен и не слишком злоупотреблял своей особой привилегией, но все же он воспользовался ею дважды, кроме того случая, который нам известен: один раз — при восшествии на престол королевы Марии, и другой — при восшествии на престол королевы Елизаветы. Один из его потомков воспользовался тою же привилегией при восшествии на престол Иакова I. Прежде чем этой привилегией собрался воспользоваться его сын, прошло около четверти века и «привилегия Кентов» была забыта большинством придворных, так что когда в один прекрасный день тогдашний Кент позволил себе сесть в присутствии Карла I, поднялся страшный переполох! Но дело скоро выяснилось, и привилегия была подтверждена. Последний из графов Кентов пал в гражданских войнах времен Английской революции, сражаясь за короля, и с его смертью кончилась эта странная привилегия.

Том Кенти дожил до глубокой старости; он был красивый седовласый старик величавой и кроткой наружности. Все искренне уважали его и оказывали почет его странной, особой одежде, которая напоминала о том, что «в свое время он сидел на престоле». При его появлении все расступались, давали ему дорогу и шептали друг другу:

— Сними шляпу, это королевский воспитанник!

И все кланялись ему, а он в ответ ласково улыбался; и эту улыбку ценили высоко, ибо во время описанных здесь событий он вел себя с таким благородством.

Да, король Эдуард VI жил недолго, бедный мальчик, но он достойно прожил свои годы. Не раз, когда какой-нибудь важный сановник, какой-нибудь раззолоченный вассал короны упрекал его в излишней снисходительности или доказывал, что тот или другой закон, который хотел он смягчить, и без того достаточно мягок и не причиняет никому чрезмерных стеснений и мук, юный король устремлял на него свои большие, красноречивые, полные грустного сострадания глаза и говорил:

— Что ты знаешь об угнетениях и муках? Об этом знаю я, знает мой народ, но не ты.

По тем жестоким временам царствование Эдуарда VI было на редкость милосердным и кротким. И теперь, расставаясь с ним, попытаемся сохранить о нем добрую память.